

18+

АЛЕКСАНДР КАЧУРА



ПАНТИКАПЕЙ

ИСТОРИИ ЗАБЫТОГО ЦАРСТВА

КНИГА ОСНОВАНА
НА РЕАЛЬНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ФАКТАХ



Александр Качура

Пантикапей. Истории забытого царства

<https://litres.ru/74249042>

ISBN 9785007048095

Аннотация

Это не просто исторический роман. Это дневник писца, который решил писать правду в эпоху, когда ложь была удобнее. I век, Боспорское царство. Диоскор получает от умирающего царя приказ: собрать подлинную историю — без лжи, без страха. Он пишет о предательствах, войнах, любви, грязи и надежде. Он топчет виноград, рискует упасть в колодезь, платит гетере и отказывается от другой. Но правда никому не нужна. Основано на реальных исторических событиях. Вымыслен только тот, кто всё это записал.

Содержание

«ПАНТИКАПЕЙ. ИСТОРИИ ЗАБЫТОГО ЦАРСТВА»	5
ПРОЛОГ. ЦАРСКОЕ ПОРУЧЕНИЕ	8
Письмо	9
Ночной Пантикапей	16
Вход во дворец	22
В опочивальне царя	27
Стук в дверь	36
Архивы	42
Клятва	49
Глава 1. Столица на проливе	55
Царский дворец	58
Агора	63
Порт (Лимен)	67
Храм Аполлона	71
Вечерний Пантикапей	78
ГЛАВА 2. Продажный город. Дорога в Нимфей	85
Нимфей. Город, который помнит	91
Утро на развалинах	109
Библиотека Нимфея	117
Вечер в Нимфее	122
Конец ознакомительного фрагмента.	127

Пантикапей. Истории забытого царства

Александр Качура

© Александр Качура, 2026

ISBN 978-5-0070-4809-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Я вырос среди этих камней. Я лазил по Митридатской лестнице, когда она ещё не знала реставраций, и гладил шершавые крылья грифонов, чувствуя под пальцами время.

Эта книга родилась не из желания написать «исторический роман».

Она родилась из запаха пыли в Керченских раскопах, из ощущения, что камень на горе Митридат хранит тепло чьих-то рук. Из вопроса, который мучил меня: как жил человек, которому приказали писать правду в эпоху, когда ложь была удобнее?

Диоскор — вымышленный герой. Но всё, что его окружает — реально.

Все географические места, описанные в книге — Пантикапей, Нимфей, Мирмекий, Илурат, Тиритака, Феодосия — действительно существовали. Их руины можно увидеть сегодня.

Все исторические личности — Рескупорид I, Савромат I, Митридат VI Евпатор, легат Секст Октавий Фронтон — реальные люди, засвидетельствованные в письменных источниках и на монетах.

Все события — войны с Римом, восстание Савмака, азиатская вечерня, смерть Митридата, борьба Боспора за независимость — происходили на самом деле.

Все обряды и ритуалы, описанные в книге (очищение невесты в храме Афродиты, свадебные церемонии, похоронные обычаи, клятвы воинов), взяты из исторических ис-

точников и археологических данных. Детали одежды (хитоны, пеплосы, фибулы, фламмеум) воссозданы по античным изображениям и находкам. Способы передвижения (пешком, на лошадях, на волах) соответствуют реалиям I века. Цены на рынках, стоимость съёма комнаты, плата гетерам и цены на рабов — всё это основано на документальных свидетельствах и экономических реконструкциях.

Архив Митридата — не выдумка: фрагменты его переписки найдены археологами. Гора Митридат действительно хранит подземные пустоты, доступ к которым закрыт из-за риска обвалов.

Моя задача была не придумать историю. Моя задача — дать голос человеку, который мог бы её записать. Человеку, который мог ходить по тем же камням, что и я, только две тысячи лет назад.

Вы держите в руках дневник писца, который три года собирал правду. Он не герой. Он не воин. Он просто не умел молчать.

В этой книге нет вымышленных дат и придуманных битв. Но есть грязь, пот, слёзы и надежда. Есть соль, которую чувствуешь на губах даже через две тысячи лет.

Если после прочтения вы захотите подняться на гору Митридат — значит, я сделал всё правильно.

Александр Качура

ПРОЛОГ. ЦАРСКОЕ ПОРУЧЕНИЕ

Из записок Диоскора, сына Лагина, родом из Пантикапея.

387 год Боспорской эры, 17-й день месяца панем.

Письмо

Старый слуга нашёл меня на агоре.

Я сидел в тени портика, прислонившись спиной к холодной колонне. Мрамор был шершавым, с мелкими трещинами — их оставило время, которого у меня, в отличие от этого камня, было не так много. Рядом, на каменной скамье, лежали вощёные таблички. Дешёвые, с плохо отёсанными краями, такие покупают писцы без недостатка, те, кто перебивается случайными заказами и не смеет мечтать о дорогом папирусе.

На табличках я записывал текущие цены. На хлеб. На свежую рыбу, только что привезённую из Понта. На мутное оливковое масло, которое торговцы разбавляли водой и продавали как чистое. Ничего важного. Просто повседневная жизнь города, которую я фиксировал по привычке — чтобы рука не забывала держать стиль, а глаз различать буквы в сумеречном свете.

Я люблю этот час. Когда солнце уже не жжёт, а мягко золотит верхушки колонн, заставляя мрамор светиться изнутри. Когда тени удлиняются и город начинает дышать по-другому — медленнее, затаённое, как зверь, который чувствует приближение ночи и готовится к охоте.

Агора постепенно пустела.

Лавочники сворачивали парусиновые навесы — ткань

хлопала на ветру, как крылья раненых птиц. Рабы тащили корзины с нераспроданным товаром в подсобки, их босые ноги шлёпали по тёплым каменным плитам. Где-то в дальнем конце площади женщина громко спорила с торговцем овощами — её голос был резким, как крик чайки, но слов я не разбирал, да и не хотел разбирать. В этом городе каждый сам за себя, и чужие ссоры — верный способ нажать врага.

Я как раз заканчивал запись о сегодняшней стоимости ячменя, когда тень упала на мои таблички.

Не прохожего. Не спешащего по делам горожанина. Тень человека, который застыл надо мной и не собирался уходить. Он стоял так близко, что я чувствовал его дыхание — слабое, с кисловатым запахом старого вина.

Я поднял голову.

Передо мной стоял старик. Сгорбленный, с узкими плечами и длинными тонкими руками, которые висели вдоль тела как плети — безжизненно, будто он давно забыл, что ими можно что-то делать. Его кожа была сероватой, натянутой на острые скулы, как старая пергаментная бумага на деревянной основе.

Одежда была бедной. Выцветший коричневый хитон, заштопанный на плече грубой ниткой — видимо, сам себя чинил, потому что ни один раб не сделал бы так криво. Кожаные сандалии с истёртой подошвой, из которой торчали пальцы с жёлтыми, длинными ногтями.

Но на поясе, прямо у бедра, висел ключ.

Не обычный ключ от амбара или сундука с припасами. Бронзовый, с массивной головкой, на которой был выгравирован грифон. Чётко, с мельчайшими деталями — каждый мускул на теле мифического зверя, каждое перо на его крыльях. Грифон застыл в вечном прыжке, разинув клюв, и казалось, что вот-вот сорвётся с металла и взлетит.

Такие ключи я видел лишь однажды. У человека, запиравшего за мной ворота царского дворца, когда меня вызывали для мелкой работы — переписать какую-то старую грамоту. Я тогда запомнил и ключ, и стража. Он был высоким, широкоплечим, с властным взглядом. Теперь тот человек стоял передо мной, сгорбленный временем, больной, почти рассыпающийся.

Время никого не щадит. Даже тех, кто служит царям.

Старик смотрел на меня. Его глаза были мутными, выцветшими, как старые монеты, которые уже не принимают в уплату, но в них читалось что-то пугающе живое. Какая-то мысль, которая тлела там долгие годы, пропитывая его изнутри, и сейчас наконец решила вырваться наружу — горячая, как лава из кратера вулкана.

— Ты Диоскор? — спросил он. Голос его был тихим, скрипучим, как несмазанная дверная петля. Казалось, каждое слово даётся ему с трудом, что он уже давно не говорил так много и теперь жалеет об этом.

— Я Диоскор, — ответил я, откладывая стиль. Мои пальцы невольно сжались — я почувствовал, как деревяшка сти-

ля нагрелась от моей ладони. — А ты кто?

Он усмехнулся, обнажив редкие, пожелтевшие зубы. В его усмешке не было веселья — только горечь и что-то похожее на отчаяние.

— Тот, кто знает о тебе больше, чем ты сам, — сказал он. — Я видел, как вчера на рынке ты записывал цену на соль. Как сегодня утром считал амфоры с вином, привезённые с Родоса. Ты летописец. Тот, кто фиксирует жизнь города на своих вощённых дощечках. Цены, имена, слухи. Я не ошибся?

— Не ошибся, — признал я, чувствуя, как внутри что-то сжалось. Не от страха — от осознания того, что этот старик знает обо мне больше, чем мои ближайшие соседи.

Он опустился на скамью рядом со мной. Тяжело, с явным хрустом в больных коленях — такой звук бывает, когда кости трутся друг о друга, лишённые смазки. Он кряхтел, как старый пёс, который уже не может охотиться, но всё ещё помнит запах дичи.

— Я давно за тобой наблюдаю, — продолжал он, вытирая пот с лысеющего черепа. — Ты аккуратен. Терпелив. Не лезешь в чужие дела, но при этом замечаешь то, что другие пропускают. Мне нужен такой человек.

— Для чего? — спросил я, ощущая, как воздух вокруг внезапно стал тяжелее, как перед грозой.

Старик оглянулся по сторонам. Агора почти опустела. Лавочник напротив уже закрыл ставни и ушёл, оставив за собой пустой прилавок и грудку гнилых овощей, которые не успел

продать. Только у фонтана сидела старая рабыня с корзиной, но она дремала, уронив голову на грудь, и её храп был едва слышен.

Старик наклонился ко мне так близко, что я почувствовал запах старого дерева, ладана и чего-то ещё — сладковатого, приторного, похожего на увядающие цветы. Этот запах преследовал меня потом долгие годы, каждую ночь, когда я закрывал глаза.

— Царь хочет тебя видеть, — прошептал он.

У меня перехватило дыхание. Моя рука, всё ещё сжимавшая стиль, замерла на полпути к табличке. Сердце пропустило удар, потом забилось чаще, как испуганная птица в клетке.

— Царь Рескупорид? — спросил я, и мой голос прозвучал чужим, хриплым.

— А есть другой? — он усмехнулся, и в его глазах мелькнуло что-то похожее на жалость. — Он стар. Он болен. Он знает, что время его на исходе. И он хочет сказать тебе то, что нельзя доверить ни писцам, ни визирям, ни даже собственным сыновьям.

— Почему я? — прошептал я, чувствуя, как холодок пробежал по спине, а волосы на руках встали дыбом.

— Потому что ты будешь молчать. — Старик посмотрел мне прямо в глаза, и в этом взгляде было нечто повелевающее, нечто от тех времен, когда он ещё был сильным и его боялись. — У тебя нет ни положения, ни власти, ни полити-

ческих врагов. Ты всего лишь писец, считающий гроши на рыбе. Никто не заподозрит, что именно ты хранишь то, что способно разрушить царство.

— Что может разрушить царство? — эхом отозвался я.

Город затих. Даже ветер перестал дуть. Казалось, сама вечность затаила дыхание, ожидая ответа.

Старик поднялся. Его длинная тень легла на агору, протянувшись к самым колоннам, и на секунду мне показалось, что это не тень человека, а тень грифона — того самого, с ключа.

— Узнаешь, — сказал он. — Если готов. Если нет — оставайся здесь. Считай свои таблички и не лезь в чужие тайны.

Он протянул мне ключ. Тот самый, бронзовый, с грифоном.

Я взял его. Ладонь онемела от прикосновения к металлу — он был холодным, тяжёлым, ощутимым, как сама вечность, свалившаяся на мои плечи. Грифон на головке ключа будто ожил, и мне почудилось, что он смотрит на меня своими каменными глазами, оценивая, достоин ли я того, что мне предстоит узнать.

— Я готов, — сказал я, чувствуя, как внутри поднимается что-то давно забытое. Любопытство. Или гордость. Или просто глупая надежда на то, что моя жизнь, полная однообразных записей о ценах на рыбу, наконец обретёт смысл. — Я всегда был готов.

Я и сам не знал, правду ли говорю. Но выбора у меня не

было. Ключ уже лежал в моей руке.

Старик кивнул и развернулся.

— Тогда иди за мной, — бросил он через плечо. — Только быстро. Время позднее, а путь до акрополя неблизкий.

Я сунул таблички в кожаную сумку, повесил её через плечо и поднялся. Ноги слегка дрожали. Не от страха — от предчувствия неизбежного. От осознания того, что назад дороги уже нет. Что этот вечер на агоре станет чертой между моей прежней жизнью — тихой, незаметной, безопасной — и той, что ждёт меня впереди.

В тот вечер я ещё не знал, что этот короткий разговор изменит всё.

Что через несколько лет я буду прятать свитки в подземном склепе под горой Митридат, а за мной будут охотиться, как за диким зверем. Что я потеряю друзей, дом, покой и в конце концов — саму жизнь.

Я просто шёл за стариком по пустеющей агоре, слушая, как мои сандалии стучат по каменным плитам, и думал только об одном: что именно хочет открыть мне царь?

И сердце моё билось так сильно, что, казалось, его стук слышен всей столице.

Ночной Пантикапей

Мы шли через город, когда солнце уже село и улицы погрузились в сумерки.

Старик двигался быстро, намного быстрее, чем я ожидал от его согбенных плеч и больных коленей. Он почти бежал, семеня ногами, и я едва поспевал за ним, то и дело спотыкаясь о неровные камни мостовой. Мои сандалии скользили по влажным плитам — кто-то вылил воду прямо у входа в лавку, и она растеклась по всей улице, смешиваясь с грязью и остатками овощей.

Я то и дело оглядывался. Не шёл ли кто за нами. Не смотрели ли на нас из темноты окон. Но улица была пуста. Только тени наших собственных тел скользили по стенам, и каждый раз, когда я замечал их краем глаза, мне казалось, что нас преследуют.

— Куда мы идём? — спросил я, когда мы свернули в очередной переулок.

— Туда, где умирают цари, — бросил он через плечо, даже не обернувшись.

Я хотел спросить ещё, но он приложил палец к губам — жест, который не терпел возражений, — и ускорился.

Рука моя скользнула в карман, нащупала стиль — единственное оружие, которое у меня было. Бронзовый, с острым концом, которым я царапал буквы на воске. Сейчас он

казался мне смехотворной защитой. Против тьмы? Против тайны? Против того, что ждало впереди?

Я сжал его сильнее и ускорился.

Пантикапей в этот час был другим. Не шумным, не деловым, каким я знал его днём, а каким-то затаившимся, напряжённым, как зверь перед прыжком.

Днём этот город принадлежал всем. Торговцам, кричавшим на агоре о своих товарах. Жрецам, возносившим молитвы в храмах. Матросам, грузившим амфоры в трюмы кораблей. Днём он жил своей привычной, размеренной жизнью — торговал, спорил, молился, обманывал, влюблялся, ненавидел.

Ночью Пантикапей принадлежал другим. Тем, кто прятался в тени. Тем, кто шептался в подворотнях. Тем, кто нёс тайны, способные разрушить царство.

Мы шли через кварталы, которые я никогда не видел. Узкие улочки, где дома стояли так близко, что их стены почти касались друг друга. Грязные переулки, где воняло мочой и гнилыми отбросами — жители выливали помои прямо на мостовую, не заботясь о прохожих.

Здесь не было факелов. Только редкие масляные лампы в окнах — тусклые, чадающие, отбрасывающие на стены причудливые тени. В их свете я видел лица. Обветренные, с глубокими морщинами. Усталые, с пустыми глазами. Лица тех, кто никогда не поднимется на акрополь, кто не войдёт в царский дворец, кто умрёт так же бедно, как и жил.

Из таверны доносилась пьяная песня. Кто-то горланил о любви и смерти, перевирая слова и путая мотивы. Голос был хриплым, надорванным, как у человека, который давно потерял надежду на лучшее. Ему подпевали другие — нестройно, фальшиво, но с какой-то отчаянной страстью.

Я снова оглянулся. За нами всё так же никто не шёл. Но страх не отпускал. Он сидел где-то в груди, тяжёлый, липкий, как старая смола.

— Быстрее, — бросил старик, почти переходя на бег.

Я ускорился, чувствуя, как в груди начинает колоть. Я не был привычен к такой ходьбе. Моя жизнь писца была тихой, сидячей. Я проводил дни в тени портиков, согнувшись над табличками, и мои лёгкие не привыкли к быстрому движению.

Мы миновали агору.

Днём здесь кипела жизнь — торговля, споры, обмен новостями. Сотни голосов сливались в один сплошной гул, от которого закладывало уши. Теперь площадь была пуста. Только ветер гонял по камням сухие листья и обрывки папируса — чьи-то неоплаченные счета, выброшенные за ненадобностью.

Фонтан в центре агоры молчал. Вода не текла — на ночь её перекрывали, чтобы рабы не собирались у чаши и не разносили по городу ночные шепотки. В глубине каменной чаши плавала дохлая крыса, и запах разложения смешивался с сыростью и затхлым воздухом.

Мы обогнули храм Аполлона. Его белые колонны светились в темноте, как кости гигантского животного. Месяц ещё не взошёл, но звёзд было достаточно, чтобы различить очертания фронтона, статуи богов, фризы с изображением битв. Внутри храма горели светильники — жрецы готовились к ночной молитве. Их голоса — низкие, монотонные — доносились сквозь щели в дверях, смешиваясь с запахом ладана и мирры.

Я всегда боялся этого места. Не храма — того, что он символизировал. Власть богов, власть жрецов, власть, которая была выше любой земной. Я, простой писец, не смел поднимать глаза на статуи, когда проходил мимо. И сейчас я опустил голову и ускорился, стараясь не смотреть на колонны, которые, казалось, смотрели на меня с укором.

Потом мы свернули в узкий переулок, вымощенный так тесно, что я задевал плечами стены. Кирпичи были шершавыми, с острыми краями — они царапали кожу через тонкую ткань хитона. Воздух здесь был спёртым, пахло плесенью и кошачьей мочой.

Где-то наверху скрипнула дверь, и женский голос окликнул кого-то по имени. Ей не ответили. Или не услышали, или не захотели отвечать.

Запахи здесь были другими. Не рыба и вино, как в порту. Не пряности и благовония, как на агоре. Здесь пахло бедностью. Старым деревом, которое давно пора выбросить, но не на что купить новое. Ладаном, которым жрецы коптили до-

ма бедняков, чтобы те не жаловались на вонь. И ещё чем-то — сладковатым, приторным, похожим на увядающие цветы. Тот же запах, что исходил от старика.

— Мы близко? — спросил я, чувствуя, как колотится сердце. Стил в кармане впился в ладонь.

— Тихо, — прошипел он. — Стены имеют уши.

Я замолчал. Оглянулся в последний раз. Никого.

Мы вышли на небольшую площадку, вымощенную крупными каменными плитами. В центре площадки стояла статуя — мужчина в воинском облачении, с мечом в руке. Лицо было стёрто временем, но поза сохранилась — уверенная, почти вызывающая.

— Кто это? — спросил я.

— Один из царей, — ответил старик, даже не взглянув на статую. — Их здесь много. Стоят веками, смотрят на город, который их уже забыл.

Он показал на массивную дверь, вделанную в скалу.

— Дворец, — сказал он. — Акрополь.

Я поднял глаза.

Перед нами возвышалась стена. Не та, что окружала акрополь сверху, где стояли храмы и царские покои. Это была нижняя часть дворцового комплекса — хозяйственные помещения, склады, казармы для стражи. Стена была сложена из огромных известняковых блоков, подогнанных друг к другу без раствора. Камни лежали так плотно, что между ними нельзя было просунуть даже лезвие ножа.

В стене была дверь. Дубовая, окованная медью. Медь потускнела от времени, покрылась зеленоватым налётом, но бронзовые гвозди, которыми были обиты доски, ещё блестели в свете звёзд.

Старик подошёл к двери, достал из-за пазухи ключ — тот самый, бронзовый, с грифоном. Его пальцы, узловатые и покрытые пятнами, на секунду замерли на холодном металле, прежде чем он вставил его в скважину. Это движение было выверено десятилетиями.

— Ты часто здесь бываешь? — спросил я, пытаюсь унять дрожь в голосе.

— Тридцать лет, — ответил он, не оборачиваясь. — Каждую ночь. Отпираю и запираю. Скоро это кончится.

— Что?

— Всё.

Он повернул ключ.

Механизм щёлкнул — глухо, увесисто, как удар молота по наковальне. Потом ещё раз. И ещё. Я насчитал три щелчка, прежде чем дверь открылась.

Старик толкнул её. Она поддалась с тихим, почти нежным вздохом — как человек, который давно ждал этого мгновения и наконец дождался.

— Иди, — сказал он, отступая в сторону. — Он ждёт.

— Кто?

— Царь.

Я переступил порог.

Вход во дворец

Тишина здесь была другой. Не той, что на улице, где ветер гонял сухие листья и пьяные голоса тянули песни из таверны. Не той, что в переулках, где скрипели двери и шептались невидимые голоса.

Здесь была тишина мёртвых.

Она давила на уши, закладывала их, как перед грозой. Я слышал собственное дыхание — слишком громкое, слишком частое. Слышал, как стучит сердце. Каждый удар отдавался в висках, и мне казалось, что этот звук разносится по всему коридору, что его слышат те, кто спит в этих каменных стенах.

Я стоял неподвижно, боясь сделать шаг.

Глаза привыкали к темноте медленно. Сначала я различал только очертания стен — грубый камень, сложенный насухо, без раствора. Потом — сводчатый потолок, теряющийся где-то наверху. Потом — пол, выложенный крупными плитами, на которых застыли лужицы воды.

Где-то в глубине капала вода. Мерно. Однообразно. Как отсчёт времени до казни.

Я сделал шаг.

Подошва сандалии скользнула по мокрому камню. Я едва удержал равновесие, выставив руку вперёд, и наткнулся пальцами на холодную, шершавую стену. Камень был покрыт

слизью — пахло тиной и разложением.

— Иди, — сказал старик.

Голос его донёсся откуда-то сзади, приглушённый, будто сквозь слой ваты. Я обернулся. Дверь была закрыта. В полумраке я едва различал её очертания — массивную дубовую створку, окованную медью.

— А ты? — спросил я. Голос дрожал.

— Моя работа здесь, — ответил он. — Дальше ты пойдёшь сам.

— Куда?

— Прямо. До конца коридора. Потом налево. Лестница вверх. В конце — дверь. Он там.

— Откуда ты знаешь?

— Я знаю этот дворец лучше, чем свои морщины.

Он замолчал. Я услышал, как его сандалии зашаркали по камню — он отошёл в сторону. Потом скрипнула дверь, и я понял, что он вышел.

Я остался один.

Стиль в кармане впивался в ладонь. Я сжимал его так сильно, что бронзовая поверхность нагрелась от моего тепла, становясь единственным живым, осязаемым якорем в этом ледяном склепе. Маленький, смешной инструмент писца — какое оружие против тьмы? Против того, что ждало впереди?

Я пошёл.

Коридор тянулся бесконечно. Стены сужались, потолок

нависал всё ниже. Казалось, каменный мешок сжимается, пытается раздавить меня, превратить в лепёшку, в пыль, в воспоминание о человеке, который когда-то осмелился войти туда, куда не звали.

Вода капала где-то совсем близко. Я чувствовал её запах — холодный, металлический. И ещё что-то — сладковатое, приторное, как увядающие цветы. Тот же запах, что исходил от старика. Здесь он был сильнее, гуще, словно пропитывал сам воздух.

Я свернул налево.

Лестница уходила вверх. Ступени были вырублены прямо в скале — неровные, скользкие, с выщербленными краями. Я поставил ногу на первую. Камень не дрогнул. Я поднялся на вторую. Третью. Четвёртую.

Считать ступени помогало сохранять спокойствие.

Одна, вторая, третья...

Я считал до тридцати, когда понял, что лестница кончилась.

Передо мной была дверь.

Такая же, как внизу, но меньше. Дубовая, окованная железом, с массивной ручкой в виде львиной головы. Из пасти льва когда-то текла вода — я заметил ржавый след, протянувшийся до самого пола. Теперь лев молчал, скалясь в темноту пустыми глазницами, словно сторожа вход в иной мир. За дверью горел свет.

Тонкая полоска пробивалась снизу, золотистая, живая. Я

припал к щели, пытаюсь разглядеть хоть что-то, но увидел только край стены, выбеленный известкой, и тень, которая двигалась медленно, как маятник.

Там кто-то был.

Я поднял руку, чтобы постучать, но она замерла в воздухе. Нельзя. Не сюда. Не так. Царя не тревожат стуком. Для царей есть особые жесты, особые слова, особые позы. Я не знал их. Я был всего лишь писцом, считавшим цены на рыбу.

Тогда я взялся за ручку.

Львиная голова была ледяной. Металл обжигал пальцы, но я не отпустил. Я уже знал, что назад дороги нет. Не с той минуты, как взял ключ. Не с той секунды, как переступил порог вниз. Теперь оставалось только идти вперёд.

Я повернул ручку — и дверь открылась.

Свет ударил в глаза.

Я зажмурился, отступил на шаг, поднял руку, защищаясь. По векам ударили красные круги. Я моргал, щурился, пытался привыкнуть, но боль не уходила. Я затаил дыхание, боясь нарушить тишину, которая давила на плечи, как каменная плита.

— Входи, — услышал я голос.

Не старика. Не слуги. Не стражника.

Голос был тихим, усталым, но в нём чувствовалась такая сила, что мои колени согнулись сами собой. Он ударил по ушам, как удар копья. Не громко — тихо, почти шёпотом. Но в этой тишине, в этом каменном мешке, каждое слово

звучало как приговор.

— Входи, — повторил он. — Не бойся. Я не кусаюсь.
Я переступил порог.

В опочивальне царя

Комната была богатой, но увядающей — как сам царь.

Стены расписаны фресками: сцены охоты, морские сражения, боги на Олимпе. Краски ещё яркие, но кое-где штукатурка облупилась, открывая серый камень — холодный, равнодушный, которому нет дела до величия, которое он видел. Пол — мраморный, чёрный с белыми прожилками, но в трещинах застыла грязь. Потолок держат деревянные балки, резные, с грифонами — когда-то их покрывали золотом, теперь осталась только пыль.

В углу — сундук из кедра, окованный бронзой. На столе — серебряная посуда. Кувшин с вином. Тарелка с фруктами и свежим хлебом. Рядом — масляные светильники на высоких подставках. Они горят ровным жёлтым светом, отбрасывая на стены причудливые тени.

Но богатство это — старое. Мрамор потрескался. Серебро потускнело. Фрески осыпаются. Всё здесь помнит лучшие времена, но никто не хочет об этом вспоминать — ни слуги, которые ленятся, ни царь, который уже не встаёт с постели.

В комнате пахнет болезнью. Лекарственными травами, уксусом, ладаном. И ещё чем-то сладковатым, приторным — запахом умирающей плоти, который не могут перебить благовония. Он заполняет всё: воздух, стены, мои лёгкие. Я ловлю себя на том, что дышу реже, мельче, будто боюсь вдох-

нуть этот запах полной грудью.

В центре комнаты, на низком ложе, заваленном шкурами, лежит он.

Царь.

Рескупорид I, повелитель Боспора, друг римлян, владыка Понта Эвксинского и Меотиды. Тот, чьё имя произносят с трепетом на агоре и шёпотом — в заговорах. Тот, чьи монеты я пересчитывал, сводя чужие барыши.

Он стар. Очень стар.

Настолько, что я сначала не понял — жив ли он вообще. Лицо серое, как зола, с морщинами, которые прорезали кожу до самой кости. Глаза ввалились, губы потрескались, нос заострился — верный знак того, что жизнь уходит, покидая тело по частям, как хозяин, который собирает вещи перед дальней дорогой.

Волосы — белые, редкие, беспорядочно разбросаны по подушке. Тонкие, почти прозрачные, как паутина. Дунуть — разлетятся.

Руки лежат поверх одеяла. Длинные пальцы, униженные кольцами с печатками. Золото, серебро, бронза. На одном — грифон. Тот самый, что на ключе старика. Символ Боспора. Царский знак.

Но сами руки — тонкие, почти прозрачные, как папирус, на котором не осталось чернил. Кожа висит складками, обрисовывая каждую косточку, каждую жилку.

И глаза.

Когда он открывает их, я вижу — они живые. Бледно-голубые, выцветшие от времени, но живые. В них горит огонь, который не погас даже сейчас, когда тело почти сдалось. Он тлеет там, в глубине, как угли в потухшем костре, которые стоит только тронуть — и они вспыхнут с новой силой.

— Подойди, — говорит он.

Голос тихий, хриплый, как шёпот ветра в сухой траве. Но в нём чувствуется сила. Та самая, что заставляла тысячи людей склонять головы, что отправляла корабли в дальние плаванья, что начинала войны и заключала мир.

Я делаю шаг. Потом ещё один. Останавливаюсь у края лоджа.

— Ближе.

Я придвигаюсь.

— Ты Диоскор?

— Да, повелитель. — Голос мой звучит чужим, хриплым.

— Писец?

— Да.

— Тот, кто записывает цены на рыбу?

В его голосе нет насмешки. Только усталость. Может быть, горечь. Может быть, ирония человека, который знает, что его время вышло.

— Да, повелитель. — Я делаю паузу, собираясь с духом.

— И не только. Я записываю всё, что вижу. Каждый день. Каждый час. Каждую цену, каждое имя, каждую сплетню.

Он усмехается. Криво, одними уголками губ. Зубов почти

не осталось, и улыбка его страшна — как череп на монете, которую уже не примут в уплату.

— Поэтому я и позвал тебя. Ты видишь. Ты не боишься записывать. Ты не продаёшь свои таблички тем, кто больше платит.

— Откуда вы знаете?

— Я царь. — Он смотрит мне прямо в глаза, и в этом взгляде — власть, которая не исчезла даже сейчас, когда тело уже почти сдалось. — Я должен знать всё о своих подданных. Даже о тех, кто считает цены на рыбу. Особенно о таких, как ты.

Он замолкает. В комнате слышно только моё дыхание и его редкие вздохи. И вода — где-то далеко, за стенами, она капает. Мерно. Однообразно. Как время, которое утекает сквозь пальцы.

— Садись, — говорит он, указывая на табурет у стены.

Я приношу табурет и сажусь. Ноги дрожат. Руки тоже. Я прячу их под хитоном.

— Ты знаешь, почему ты здесь?

— Нет, повелитель.

— Я болен. Врачи говорят — год. Может быть, два. Может быть, три, если боги будут милостивы. Но они никогда не были милостивы к моему роду.

Он снова усмехается. Криво. Безрадостно.

— Я не боюсь смерти, писец. Я боюсь, что после меня останется ложь. Те, кто придут, напишут свою историю. Рим-

ляне — свою. Греки — свою. А правда... правда умрёт вместе со мной, если я не сделаю так, чтобы она осталась.

Он кашляет. Долго, надрывно, сотрясаясь всем телом. Я хочу позвать слуг, но он останавливает меня взглядом.

— Не надо. — Голос его прерывается, хрипит. — Всё хорошо. Ещё не время.

Он вытирает губы тыльной стороной ладони. На коже остаётся тёмное пятно.

— Повелитель... — начинаю я, но не знаю, что сказать.

— Не перебивай.

Я замолкаю.

— Римляне душат нас. — В его голосе появляется злость. — Требуют дань. Сажают своих ставленников. Вмешиваются в законы. Мой отец терпел. Мой дед терпел. А я... я не хочу умирать рабом.

Он поворачивает голову и смотрит мне прямо в глаза. В его взгляде столько ярости, что я невольно отвожу глаза.

— Ты слышишь меня, писец?

— Да, повелитель.

— Я не хочу умирать рабом. Поэтому я хочу, чтобы ты написал правду.

— Какую правду?

— Всю. О Боспоре. О наших царях. О войнах. О предательствах. О том, как мы жили и как умирали. Не для римлян. Не для греков. Для потомков. Чтобы они знали — мы были великими. Чтобы никто не мог переписать нашу исто-

рию.

— А если меня найдут?

— Ты умрёшь. — Он усмехается, и в этой усмешке нет ничего весёлого. — Но свитки останутся. Это дороже жизни.

— А если найдут свитки?

— Тогда ты умрёшь не зря.

Я смотрю на него и не верю своим ушам.

— Я простой писец, повелитель. У меня нет ни власти, ни денег, ни друзей. За мной никто не пришлёт армию. Я всего лишь человек, который считает чужие деньги.

— Поэтому ты и нужен. — Он закрывает##, и голос его становится тише, слабее. — Тебя никто не заподозрит. Ты слишком мал для подозрений.

— А если заподозрят?

— Тогда тебе придётся прятаться.

— Куда?

— Туда, где никто не найдёт.

Он замолкает. Я жду. Вода капает за стенами. Где-то далеко прокричал ночной стражник. Голос его глух, неразборчив, как из другого мира.

— Я распоряжусь, чтобы тебе открыли архивы. — Он не открывает глаз. — Старый слуга проводит. Он знает, к кому идти.

— А когда вас не станет?

— Не скоро. — Он усмехается. — Я ещё подержусь. Я должен прочитать то, что ты напишешь. Должен убедиться,

что ты понял меня правильно. Что ты не свернул с пути.

— А если я напишу что-то, что вам не понравится?

Он открывает глаза и смотрит на меня. Долго. Так смотрят на человека, который переступил черту.

— Если ты будешь врать — я узнаю. — Голос его спокоен, но в этом спокойствии — приговор. — Если ты утаишь правду — я тоже узнаю. Я хочу правду, писец. Даже если она горькая. Даже если она обо мне. Иначе зачем всё это?

Он протягивает руку к сундуку у кровати. Я хочу помочь, но он останавливает меня взглядом. Сам открывает крышку. Достает кожаный кошель. Тяжёлый. Звякает.

— Здесь золото. На первое время. Этого хватит на год, может, на два, если не сорить.

Он бросает кошель на край постели. Я не смею взять.

— Бери.

— Я не умею брать взятки, повелитель.

— А придётся научиться. История не пишется сама. Её нужно добывать, выкупать, выменивать. Иногда — вымогать. Ты поедешь в другие города. Будешь платить писцам за доступ к свиткам. Будешь подкупать чиновников. У тебя будут расходы.

— А если я возьму и исчезну?

Он смотрит на меня с усталой усмешкой.

— Не пытайся сбежать. Я найду тебя, даже если ты уплывёшь на край света. У меня есть люди. И терпение.

— А когда вас не станет?

— Тогда ты будешь работать на память обо мне. И на совесть.

Он протягивает руку и сжимает мои пальцы. Холодные, но сильные.

— Золото не для того, чтобы ты разбогател. Золото для того, чтобы у тебя не было оправданий. Ты не сможешь сказать, что у тебя не было средств. Не сможешь сказать, что тебе не помогли. Ты должен работать. Ты понял?

— Да, повелитель.

Я беру кошель. Кожа тёплая, маслянистая. Кошель весит не меньше трёх литр.

Я держу в руках больше денег, чем заработал за всю жизнь. Я мог бы взять их и исчезнуть. Уехать в Херсонес, в Синопу, в Рим. Начать новую жизнь.

Но царь жив. Он будет читать мои записи. Он будет ждать. Если я не вернусь — он найдёт меня. Если я обману — он узнает.

У меня нет выхода. Только вперёд.

— Ты будешь приносить мне свои записи, — говорит он.
— Каждую неделю. Я хочу читать, что ты пишешь. Хочу знать, идёшь ли ты туда, куда я послал.

— А если я не успею?

— Успеешь. У нас ещё есть время.

Он сжимает мою руку.

— Ты понял?

— Да, повелитель.

— Тогда ступай. Завтра начнёшь.

Я поднимаюсь, кланяюсь. Голова кружится, в ушах шумит.

— Я сделаю всё, что вы просите, повелитель.

— Я знаю. Поэтому и позвал тебя.

Он закрывает глаза.

Я поворачиваюсь и иду к двери. На пороге оборачиваюсь. Царь лежит неподвижно, но я знаю — он не спит. Просто думает. О чём — не мне знать.

Я выхожу в коридор.

Старик ждёт внизу, у входа. Он не спрашивает ни о чём. Просто смотрит на меня и кивает.

— Завтра, — говорит он.

— Завтра, — отвечаю я.

Я выхожу из дворца в ночь. Звёзды над головой кажутся чужими. Город спит, ничего не зная о том, что случилось этой ночью.

В одной руке — стиль. В другой — кошель с золотом.

И выбора у меня нет.

Стук в дверь

Я вышел из дворца в ночь и долго стоял у стены, пытаюсь отдышаться.

В одной руке я всё ещё сжимал стиль. В другой — ничего. Царь не дал мне золота. Сказал только: «Завтра тебе принесут». Я не знал, верить ли. Может быть, это проверка. Может быть, он передумает. Может быть, к утру его не станет, и всё это окажется просто бредом умирающего.

Я пошёл домой.

Улицы были пусты. Только мои собственные тени скользили по стенам, и каждый шорох заставлял вздрагивать. Я то и дело оглядывался — не идёт ли кто за мной. Но нет. Город спал.

Дома я зажёл светильник, сел на край постели и уставился в стену.

Ничего не было. Ни золота, ни подтверждения, ни даже клочка папируса с царской печатью. Только слова. И тяжесть их давила на плечи сильнее, чем любой кошель.

Я думал о том, что сказал царь. О правде. О свитках. О том, что меня могут убить. Я думал о том, что я — никто. Писец, который считает чужие деньги. И вдруг — такое.

Я уже почти решил, что это был сон. Что старый слуга привиделся мне от усталости. Что царь... что никакого царя не было. Только темнота и мой собственный страх, которые

сыграли со мной злую шутку.

Я лёг, закрыл глаза.

И в этот момент раздался стук.

Тихий, но настойчивый. Три удара. Пауза. Ещё три.

Я замер. Сердце заколотилось где-то в горле.

Стук повторился.

Я встал, взял светильник и пошёл к двери. Рука дрожала.

Я спросил:

— Кто там?

— Открой, — ответил голос. Молодой, спокойный, незнакомый.

Я отодвинул засов.

На пороге стоял парень. Лет двадцати, невысокий, коренастый. Лицо простое, незапоминающееся — такие лица теряются в толпе, их не запоминают ни стражники, ни враги. Одежда — тёмный хитон, без украшений. На ногах — стоптанные сандалии.

В правой руке он держал небольшой сундук. Кедровый, окованный бронзой, с массивной ручкой. Тяжёлый — я видел, как напряглись мышцы его предплечья. В левой — свёрток. Папирус, перевязанный льняной бечёвкой, с тёмным пятном воска на узле.

— Ты Диоскор? — спросил он.

— Да.

— Я Атеас.

Он вошёл, не дожидаясь приглашения. Поставил сундук

на стол — дерево жалобно скрипнуло под тяжестью. Свёрток положил рядом.

— Царь прислал, — сказал он, кивнув на сундук. — Здесь золото. На первое время.

Он открыл крышку.

Я заглянул внутрь. Монеты лежали ровными рядами — статеры, драхмы, оболы. Золото и серебро, тёмное от времени, но ещё не утратившее блеска. Я знал такие монеты. Статеры с грифоном и колосом — чеканка Пантикапея. Я пересчитывал их сотни раз, но никогда не держал в руках столько сразу.

Светильник отражался в них, и комната наполнилась золотым мерцанием, от которого на мгновение заслезились глаза. Я вдохнул — пахло медью, древностью, чем-то ещё, чему нет названия. Сокровищами. Или тюрьмой.

— Здесь много, — сказал я.

— Здесь сто золотых статеров. — Он произнёс это так же спокойно, как если бы сказал, сколько рыбы привезли сегодня в порт. — И серебро на расходы. Царь сказал: хватит на год, может, на два, если не сорить.

— Сто статеров? — я не верил своим ушам. Это было целое состояние. Я никогда не держал в руках столько золота. Даже не видел столько сразу. Только в хранилищах купцов, за тяжёлыми замками.

— Сто, — подтвердил он. — И грамота.

Он развязал бечёвку на свёртке и развернул папирус.

Я поднёс светильник ближе. Текст был написан каллиграфическим почерком, ровными строками. Внизу — восковая печать с оттиском грифона. Тот самый, что на ключе старика. Тот самый, что на кольце царя. Я боялся дотронуться до воска — он казался мне клеймом, которое навеки связывало мою жизнь с судьбой этого умирающего монарха.

— Что там? — спросил я.

— Царь пишет, что ты его доверенное лицо. Что тебе нужно открывать любые архивы. Что чиновники и жрецы должны отвечать на твои вопросы, как если бы их задавал он сам.

— И кто поверит?

— Тот, кто увидит печать. А кто не поверит — тому я скажу.

Он свернул папирус и протянул мне.

— Не потеряй.

Я взял. Грамота была тёплой — он держал её у тела.

— Это... это много, — сказал я. — Слишком много.

— Царь так не считает.

Он сел на лавку, не спросив разрешения, и посмотрел на меня. В его глазах не было ни вызова, ни подобострастия. Только спокойная уверенность человека, который знает, зачем он здесь.

— Я буду при тебе, — сказал он. — Передавать записи. Следить, чтобы с тобой ничего не случилось. И чтобы ты не делал глупостей.

— Я не делаю глупостей.

— Все делают.

Он помолчал, потом добавил:

— Царь спас меня. Мне было семь. Набег на деревню. Взрослых перебили. Меня хотели продать в рабство. Он проехал мимо, увидел, остановился. Сказал: «Забираю». Я тогда не понял, что происходит. Потом понял. И с тех пор моя жизнь принадлежит ему.

Он замолчал. Я ждал.

— Он не просто царь, — сказал Атеас. — Он человек, который забирает детей из пепла. Поэтому я его никогда не предам. И пока я жив, ты будешь делать то, что он сказал.

— А если я не захочу?

— Захочешь.

Он посмотрел на меня. В его глазах не было угрозы. Только спокойная уверенность.

— Ты уже взял стиль, — сказал он. — Теперь поздно отказываться.

Я перевёл взгляд на сундук. Золото мерцало в свете светильника. Грамота лежала на столе, свернутая, но тяжёлая, как приговор.

Стиль — тот самый, которым я писал цены на рыбу, — лежал рядом. Я не помнил, когда положил его туда. Может быть, когда зажёл светильник. Может быть, раньше.

— Что теперь? — спросил я.

— Теперь ты работаешь. А я рядом.

Он поднялся.

— Завтра утром я приду. Провожу в архив. Царь распорядился, чтобы тебе открыли все хранилища. Там старые свитки. Летописи. Письма. Будешь читать, выбирать, что нужно.

— А если я не пойму?

— Спросишь у тех, кто понимает. У тебя есть грамота. И голова. Думай.

— А если кто-то спросит, кто я?

— Покажешь грамоту.

— А если не поверят?

— Тогда я скажу, кто ты.

Он улыбнулся. Впервые. Улыбка была кривой, неловкой — он не привык улыбаться.

— Не бойся, писец. Царь не забывает своих.

Он вышел. Дверь закрылась.

Я остался один.

С золотом. С грамотой. С помощником, которого не просил. С приказом, от которого нельзя отказаться.

Светильник догорал, отбрасывая на стены пляшущие тени. Я смотрел на сундук и думал о том, что теперь пути назад нет. Только вперёд — в темноту, из которой, возможно, нет выхода. И что бы там ни было, я уже сделал первый шаг.

Архивы

Я не спал всю ночь.

Сундук стоял в углу, накрытый старой тканью. Я набросил её сразу, как только Атеас ушёл, — на случай, если кто-то заглянет в окно. Потом подумал: если кто-то захочет заглянуть, он заглянет в любую щель. Ткань не спасёт. Но мне нужно было сделать хоть что-то, чтобы успокоить себя.

Соседи спали. Улица была пуста. Только ветер гонял пыль по мостовой — я слышал, как песок скрипит под порывами. Где-то далеко лаяла собака. Монотонно. Устало. Будто ей тоже не спалось, и она знала, что этой ночью что-то случилось.

Я сидел на постели, обхватив колени руками, и смотрел на тёмный прямоугольник сундука. Он стоял в углу, как зверь, который притаился и ждёт. Я слышал, как в груди стучит сердце — гулко, неровно, как барабан перед казнью.

Золото было там. Сто статеров. Целое состояние. Я мог бы взять его и исчезнуть. Купить лодку, уплыть в Херсонес, в Синопу, в Рим. Начать новую жизнь. Никто бы не нашёл.

Никто, кроме царя.

И Атеаса.

Я закрыл глаза и увидел, как они ищут меня. Как царь посылает гонцов во все концы. Как Атеас идёт по моему следу — молчаливый, упрямый, не знающий усталости. Он идёт по пыльным дорогам, расспрашивает торговцев, смотрит в

глаза каждому встречному. Он найдёт. Я знал это. И тогда уже не будет ни золота, ни новой жизни. Будет только тьма.

Я открыл глаза. В комнате было тихо. Светильник догорал — масла оставалось на час, не больше.

Грамота лежала на столе. Я взял её, развернул. Пальцы дрожали. Я перечитывал текст раз за разом, пока воск печати не начал таять от тепла моих пальцев — я чувствовал, как он становится мягким, липким, как смола.

Грифон. Царская печать. И моё имя — Диоскор, сын Лагина.

Теперь оно было не просто надписью на табличках с ценами. Оно стало частью чего-то большего. Чего-то опасного.

Я не сомкнул глаз.

На рассвете раздался стук.

Три удара. Пауза. Ещё три. Я уже знал этот ритм — сухой, требовательный, не терпящий возражений. Так стучат те, кто не привык ждать.

— Входи, — сказал я. Голос мой прозвучал хрипло — от усталости, от страха, от того, что я так и не решил, что делать.

Дверь открылась. Атеас стоял на пороге. В руках он держал узел из грубой ткани — хлеб, сыр, кувшин с вином. В глазах — ни тени усталости. Он смотрел на меня так, будто я был книгой, которую он читал без труда.

— Ты не спал, — сказал он.

— Не спал.

— Зря. Сегодня будет трудный день.

— Я знаю.

Он вошёл, положил узел на стол. Потом повернулся ко мне.

— Ты готов?

— Готов, — ответил я. Хотя не был уверен.

Он кивнул и вышел. Я последовал за ним.

Мы шли по пустым утренним улицам. Город только просыпался — лавочники открывали ставни, рабы тащили корзины с товаром, где-то кричал петух. Солнце стояло низко, и тени наши были длинными, как пальцы мертвецов.

Архивы находились в нижней части дворца, в каменных подвалах, куда не проникал солнечный свет. Мы спустились по узкой лестнице, вырубленной прямо в скале. Ступени были скользкими — я чуть не упал, но Атеас подхватил меня за локоть, не сказав ни слова.

Коридоры становились всё уже. Потолок опускался. Я чувствовал, как каменная тяжесть давит на плечи. Воздух был сырым, холодным, пахло плесенью и чем-то сладковатым — тем самым запахом, который я почувствовал ещё в опочивальне царя.

Мы прошли мимо закрытых дверей, мимо стражников, которые смотрели на нас с подозрением. Атеас показывал им что-то на пальцах — короткий, быстрый жест, — и они отступали, опуская копья.

Я не знал этого языка. Может быть, это был пароль. Может

быть, знак царя, который знают только избранные.

— Что ты им показал? — спросил я шёпотом.

— Знак, — ответил Атеас, не оборачиваясь.

— Откуда он у тебя?

— Царь дал.

— И что он значит?

— Что ты — свой. И что я твой страж.

Он замолчал. Я не стал спрашивать больше.

В конце коридора — тяжёлая дубовая дверь, окованная железом. Атеас толкнул её плечом — она не поддалась. Тогда он упёрся обеими руками и навалился всем телом. Я слышал, как скрипят его зубы, как напрягаются мышцы. Дверь открылась с протяжным, жалобным скрипом — как будто не знала, что её когда-нибудь откроют снова.

За дверью было темно. Холодно. Пахло пылью, старым папирусом и плесенью. Запах был густым, почти осязаемым — он обволакивал, лез в лёгкие, щипал глаза. Я закашлялся, прикрыл рот рукавом.

Атеас зажёл светильник. Маленький огонёк дрожал в его руке, отбрасывая на стены причудливые тени — они плясали, как призраки, как те, кто когда-то написал эти свитки и давно уже умер.

Я сделал шаг вперёд. И остановился.

Стены исчезли во тьме. Я видел только стеллажи — высокие, до самого потолка, забитые свитками. Тысячи свитков. Десятки тысяч. Они лежали ровными рядами, как солдаты

перед битвой. Некоторые — на полках. Некоторые — в корзинах. Некоторые — просто навалены кучами на полу, покрытые пылью, забытые.

Я стоял и смотрел. Сердце колотилось где-то в горле.

— Сколько здесь? — спросил я. Голос мой прозвучал глухо, как из могилы.

— Никто не знает, — ответил Атеас. — Царь говорит, что никто не входил сюда пятьдесят лет. А может, и больше. Старый слуга помнит, что при его отце здесь уже были свитки. А при деде — тем более.

— Почему не разобрали?

— Не было времени. Или желания. Или денег на писцов.

Он поднёс светильник ближе. Я вытащил первый свиток — тот, что лежал сверху, покрытый толстым слоем пыли. Я сдул её. Пыль поднялась облаком, и я закашлялся, зажмурился, чувствуя, как мелкие частицы оседают на лице, на губах, на языке.

Когда открыл глаза, я увидел текст.

По-гречески. Каллиграфическим почерком, но буквы плясали в свете светильника, сливались, расплывались. Я шурился, наклонял голову, пытался разобрать.

— Что там? — спросил Атеас.

— Не знаю, — ответил я. — Плохо видно.

— Тогда выйдем на свет.

— Нет. Я останусь здесь.

Я сел на холодный каменный пол, положил свиток на ко-

лени и начал читать.

Атеас стоял рядом. Я слышал его дыхание — ровное, спокойное. Светильник в его руке дрожал, отбрасывая на стены пляшущие тени. И я читал.

О налогах. О поставках зерна в Афины. О ценах на рыбу в Тиритаке. О торговле с Родосом. О кораблях, затонувших в проливе.

Ничего важного. Просто повседневность. Но я знал: царь прав. Правда не в битвах. Не в именах царей. Правда в этом — в списках налогов, в жалобах на чиновников, в цене на хлеб. Правда в том, что люди ели, что пили, на что жаловались. Правда в пыли, которую никто не сдувал пятьдесят лет.

Я читал до тех пор, пока светильник не начал гаснуть. Огонёк метался, бросал последние тени, и я торопился, боясь, что не успею.

— Пора, — сказал Атеас.

— Ещё немного.

— Нельзя. У нас есть время.

Я нехотя свернул свиток и поднялся. Ноги затекли, спина болела, в глазах темнело. Я взял с собой три свитка — те, что показались мне самыми старыми. Они были тяжёлыми, пахли веками.

Атеас не спросил, зачем. Просто кивнул и пошёл к выходу.

Мы вышли из подвала. Солнце уже поднялось высоко, и свет ударил в глаза, заставив зажмуриться. Город шумел,

торговал, спорил, жил своей жизнью, не зная, что я спустился в царство мёртвых и вернулся оттуда с добычей.

Дома я разложил свитки на столе, зажёл светильник и начал читать снова. Теперь, при ярком свете, буквы не плясали. Они лежали ровно, спокойно, как солдаты, которые знают, что их время пришло.

Я читал до вечера. Глаза болели, пальцы онемели. Я забыл про еду, про воду, про сон. Я читал и перечитывал, делал пометки на вощёных табличках, переписывал самое важное на чистый папирус.

И понял: царь был прав. Всё, что я искал, было здесь. В старых свитках. В забытых архивах. В пыли, которую никто не сдувал пятьдесят лет.

Я взял стиль и начал писать.

Клятва

Прошло три дня.

Я не выходил из дома. Светильник горел день и ночь. Я спал урывками — два часа, потом снова за стол. Атеас приносил еду, забирал готовые записи и уходил — к царю, чтобы тот читал. Я не знал, что он там говорит. Не знал, нравится ли царю то, что я пишу. Не знал, жив ли он ещё.

Я просто работал.

Свитки лежали на столе, на лавке, на полу — везде, где было место. Я переводил старые тексты на понятный язык, переписывал их на чистый папирус, делал пометки на полях. Рука болела. Глаза слезились. Спина затекла. Но я не мог остановиться. Каждый раз, когда я закрывал глаза, я видел царя. Его лицо. Его руки. Его взгляд, который говорил: «Ты нужен мне». Я боялся, что если остановлюсь, то подведу. А если подведу, то всё — и золото, и грамота, и моя жизнь — потеряют смысл.

На третий день, под вечер, Атеас пришёл с пустыми руками. Без хлеба, без кувшина, без свитков. Он стоял на пороге, и я понял — что-то изменилось.

— Царь зовёт, — сказал он.

Я поднял голову. Слова не сразу дошли до сознания. Я смотрел на него, моргал, пытался понять.

— Зачем?

— Хочет говорить.

— Что-то не так?

— Не знаю.

— Ты был у него?

— Был. Он читал твои записи. Молчал. Долго молчал.

Я думал, он уснул. Потом открыл глаза и сказал: «Приведи его».

Я поднялся. Ноги затекли, голова кружилась. Я опёрся на стол, постоял, выпрямился. В комнате всё плыло перед глазами — стены, свитки, светильник.

— Идём, — сказал Атеас.

Мы вышли.

Дорога до дворца заняла меньше времени, чем в первый раз. Город жил своей жизнью — лавочники продавали товар, дети бегали по мостовой, старухи сидели у порогов и щипали шерсть. Никто не смотрел на нас. Никто не знал, куда мы идём и зачем. Я был для них просто прохожим, одним из многих.

Атеас провёл меня через те же коридоры, мимо тех же стражников. Они уже не спрашивали знака — они знали нас. Или делали вид, что знают. Один из них, молодой, с рыжей бородой, кивнул мне. Я не ответил.

В опочивальне царя было жарко. Топили печь — хотя на улице стояла осень, здесь, в каменных стенах, холод пробирал до костей. Светильники горели ровным жёлтым светом, отбрасывая на стены тени. Царь лежал на том же ложе, зава-

ленный шкурами. Но сегодня он не спал.

Он смотрел на меня.

— Подойди, — сказал он. Его голос, всегда тихий, сегодня звучал едва слышно, как будто каждое слово отнимало у него последние силы.

Я подошёл. Пол был холодным, и холод пробирал сквозь подошвы сандалий.

— Ты хорошо работаешь, — сказал он. — Я читал твои записи. Всё, что ты переписал. Всё, что ты нашёл в архивах.

— Я делаю, что вы просили, повелитель.

— Делаешь. Но этого мало.

Он замолчал. Я ждал. Тишина давила на уши. Я слышал, как потрескивают угли в печи. Как где-то далеко за стеной переговариваются стражники.

— Архивы — это только начало, — сказал он. — Там лежит то, что уже умерло. То, что никому не нужно. А мне нужно живое. То, что ещё дышит.

— Я не понимаю, повелитель.

— Ты должен поехать в другие города. Тиритак. Илурат. Нимфей. Феодосию. Сугдею. Там хранятся свои архивы. Там живут люди, которые помнят. Которые видели. Которые знают то, что не записано в свитках.

— А если они не захотят говорить?

— Захотят.

Он протянул руку к сундуку у кровати. Я хотел помочь, но он остановил меня взглядом. Сам открыл крышку, достал

кожаный кошель. Тяжёлый. Звякнул. Я слышал, как монеты стучаются друг о друга — глухо, увесисто.

— Здесь золото. На дорогу. На подкупы. На взятки. Ты поедешь с Атеасом. Он будет тебя охранять.

— Я не умею брать взятки, повелитель.

— А придётся научиться. Люди не любят говорить правду просто так. Им нужно платить. Золотом. Или страхом.

Он бросил кошель на край постели. Золото в нём ощущалось не как дар, а как тяжёлая, ответственная ноша. Я смотрел на него и не мог заставить себя взять.

— Возьми, — сказал он.

Я взял. Кошель был тёплым — он лежал под шкурами, рядом с телом царя.

— Я сделаю всё, что вы просите, повелитель.

— Я знаю.

Он закрыл глаза. Я подумал, что он уснул. Но он заговорил снова — тихо, почти шёпотом:

— Ты знаешь, почему я тебя выбрал?

— Нет, повелитель.

— Потому что ты беден. У тебя нет ни положения, ни власти, ни друзей. Никто не заподозрит, что ты работаешь на меня. И потому что ты честен. Я проверил. Ты ни разу не взял лишнего, когда считал чужие деньги.

— Я боялся, повелитель.

— Не бойся. Теперь ты берёшь не для себя. Ты берёшь для дела.

Он открыл глаза. В них горел тот же огонь, что и в первый раз. Только сейчас он был слабее, готовый погаснуть в любой момент.

— Ты готов?

— Да, повелитель.

— Тогда ступай. И помни: ты не просто писец. Ты мой голос. Мои глаза. Мои уши. Ты пишешь то, что я хочу сказать. Ты видишь то, что я хочу увидеть. Ты слышишь то, что я хочу услышать. Не подведи меня.

— Не подведу, повелитель.

Он кивнул. Один раз. Медленно. И закрыл глаза.

Я поклонился. Низко, до самого пола. И вышел.

Атеас ждал в коридоре. Он поправил на плече ремень своего короткого меча, словно проверяя, готов ли он к дороге. В тусклом свете светильника его лицо казалось высеченным из камня.

— Что он сказал? — спросил он.

— Что мы едем.

— Куда?

— В Тиритаку. Илурат. Нимфей. Феодосию. Сугдею.

— Далеко.

— Далеко.

Он помолчал. Я слышал, как за стеной кто-то кашлянул — сухо, надрывно.

— Когда? — спросил Атеас.

— Завтра.

— Тогда надо выпаться.

— Да.

Мы вышли из дворца. Солнце садилось, и последние его лучи золотили верхушки колонн. Город готовился ко сну — лавочники закрывали ставни, рабы тащили корзины с товаром в подсобки, женщины звали детей с улиц.

Над грифонами у входа кружили чайки. Одна из них села на каменную голову и посмотрела на меня. В её глазах не было ни страха, ни удивления — только холодное любопытство. Может быть, она знала что-то, чего не знал я.

Я пошёл домой. Ноги не слушались. Голова гудела.

Завтра начиналась новая жизнь.

Глава 1. Столица на проливе

Акрополь

387 год Боспорской эры, месяц панем, 21-й день

Я вышел из дома за час до рассвета. Город ещё спал. Улицы были пусты, только редкие тени проскальзывали мимо — рабы, спешившие на рынок за свежим хлебом, или стражники, возвращавшиеся после ночной смены в казармы. Никто не смотрел на меня. Я был просто прохожим, одним из многих. В руке я сжимал стиль. Вощёные таблички висели на поясе — пустые, готовые принять первую запись. Я не знал, с чего начать. Царь велел писать правду. Но правда не рождается в тишине дома, когда сидишь за столом и переписываешь чужие строки. Правда — на улицах. На базарах. В порту. На вершинах, откуда видно всё.

Я пошёл к акрополю. Дорога шла вверх. Ступени, вырубленные в скале ещё при первых царях, были скользкими от утренней росы. Я поднимался медленно, придерживаясь рукой за шершавый камень стены. Слева и справа тянулись дома — бедные мазанки вплотную к богатым особнякам, с плоскими крышами, на которых спали собаки и сохло бельё. Из одного окна пахло жареным луком — кто-то готовил завтрак. Из другого доносился детский плач — кто-то не спал всю ночь. Город просыпался неторопливо. Сначала голоса

— тихие, сонные, переругивающиеся. Потом скрип дверей. Потом топот босых ног по камню. Я поднимался выше. Дома становились богаче, улицы шире. Исчезла грязь — здесь за ней следили. Вместо мазанок — каменные стены, крытые черепицей. Вместо плоских крыш — статуи богов у входов. Гермес с кошельком. Аполлон с лирой. Афродита, прикрывающая лоно.

Когда я достиг вершины, солнце только показалось из-за моря. Я замер. Ветер, гуляющий на такой высоте, с силой ударил в грудь, трепля края моего хитона, словно пытаясь сбить с ног. Вид был таким, что перехватило дыхание. Внизу, насколько хватало глаз, раскинулся Пантикапей. Черепичные крыши, колонны храмов, стены домов, улочки, спускающиеся к порту, как нити паутины. Дым над пекарнями и кузницами. Пятна зелени — сады богачей, втиснутые между каменными мешками бедноты. И море. Бесконечное, тёмное, с золотой дорожкой от солнца. Киммерийский Боспор. Пролив, который кормил этот город. По которому шли корабли с зерном, с рыбой, с вином, с рабами. Который соединял Понт Эвксинский с Меотидой, а Боспор — со всей вселенной.

Справа, на противоположном берегу, я различил дымки над Фанагорией — второй столицей царства. Слева, далеко на юге, таяли в утренней дымке Таврические горы. Прямо передо мной, у подножия акрополя, кипела агора — пока ещё тихая, но уже наполненная первым, едва слышным гулом пробуждающегося торгового дела. А за спиной, на самой вер-

штине, стоял царский дворец. Я обернулся. Белые колонны горели в лучах восходящего солнца, как кости гигантского животного — древние, мощные, но хранящие на себе печать неминуемого заката. Фронтоны с фресками — битвы богов, подвиги героев. Вход с бронзовыми воротами, на которых были выбиты грифоны — символ Боспора, страж золота, страж власти, страж этого города.

Я вспомнил, как три дня назад вошёл в эти ворота. Как старый слуга вёл меня по тёмным коридорам. Как царь лежал на смертном ложе и говорил о правде. Тогда я боялся. Сейчас, стоя на вершине при восходе солнца, я чувствовал только одно — восхищение. Как можно не писать историю этого места? Город, который стоит на границе миров. Греки и скифы, римляне и сарматы, торговля и война, жизнь и смерть — всё это здесь, внизу, под моими ногами. Сколько таких рассветов видело это место до меня? И сколько увидит после? Я достал табличку, прислонил её к колонне портика и начал писать.

«Пантикапей. Утро. Я стою на акрополе и смотрю на город, который поручили мне описать. Он прекрасен. Он уродлив. Он велик. Он ничтожен. Он жив. Я постараюсь не упустить ничего. Ни грязи, ни золота. Ни слёз, ни смеха. Пусть те, кто прочитает это через сотни лет, увидят его таким, каким вижу я сейчас — в золотом свете восходящего солнца, над проливом, где встречаются миры».

Я свернул табличку и пошёл вниз. Работа начиналась.

Царский дворец

Спустившись с акрополя, я не пошёл домой. Ноги сами принесли меня к западному входу во дворец — тому, что поменьше, не парадному, через который три дня назад меня вёл старый слуга.

Я остановился у массивной двери, окованной медью. Медь потускнела, покрылась зеленоватым налётом, но бронзовые гвозди, которыми были обиты доски, ещё блестели — их натирали каждое утро. Я поднял руку, но постучать не успел.

Дверь открылась сама.

На пороге стоял стражник — молодой, с рыжей бородой, в блестящем шлеме и льняном панцире. Он посмотрел на меня без интереса.

— Ты писец? — спросил он.

— Я Диоскор, сын Лагина.

— Знаю. — Он кивнул куда-то в глубь коридора. — Иди. Тебя ждут.

— Кто?

— Атеас.

Стражник посторонился, и я вошёл.

Коридор был узким, вырубленным прямо в скале. Свет сюда почти не проникал — только редкие масляные лампы на стенах отбрасывали жёлтые, дрожащие пятна на грубый

камень. Пахло сыростью, плесенью и тем самым сладковатым ароматом, который запомнился мне в ночь встречи с царём.

Я прошёл мимо трёх дверей, за которыми слышались голоса — тихие, напряжённые. Кто-то спорил, боязливо, стараясь не повышать голос в стенах, которые, говорили, помнили каждое слово.

В конце коридора меня ждал Атеас. Он стоял, прислонившись плечом к стене, и чистил ногти маленьким бронзовым ножом. Увидев меня, сунул нож за пояс и кивнул.

— Идём.

— Куда?

— Царь велел показать тебе дворец. — Он усмехнулся, криво, одними уголками губ. — Для твоих записей. Чтобы ты знал, где и что.

— А ты знаешь?

— Я знаю каждую трещину в этих стенах, — ответил он и пошёл вперёд.

Мы поднялись по лестнице — широкой, пологой, с мраморными ступенями, стёртыми тысячами ног. Здесь уже не было сырости. Пахло деревом, воском и лёгким дымком от догорающих светильников.

— Это парадный вход, — сказал Атеас, не оборачиваясь. — Сюда приходят послы, купцы, царские гости. Сейчас пусто — рано ещё.

Мы вышли в большой зал. Я замер.

Колонны уходили вверх, теряясь в сумраке под самым потолком. Их было восемь — четыре с каждой стороны. Белый мрамор с тонкими голубыми прожилками, будто внутри камня застыли струйки воды. Каждая колонна была увенчана резной капителью — листья аканфа, переплетённые так искусно, что казалось, они шевелятся от сквозняка.

Стены между колоннами были расписаны фресками. Я подошёл ближе. Сцена охоты: всадник с копьём наперевес, жёлтые собаки, вцепившиеся в бок оленя, и алая кровь, будто нарисованная только вчера. Морское сражение: тараны, вёсла, летящие стрелы. Боги: Зевс, Аполлон, Афродита, Арес.

— Это всё привезли из Греции? — спросил я.

— Художники были наши, — ответил Атеас. — Краски — из Рима. Мрамор — из Пропонтиды. А работали рабы. Царь сказал: пусть дворец будет красивым. Но не дороже, чем нужно.

— Почему?

— Потому что Рим смотрит.

Он сказал это спокойно, будто речь шла о погоде. Но я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Окна под потолком, казалось, превратились в зоркие глаза, за которыми скрывался ледяной взор империи.

Атеас повёл меня дальше.

Тронный зал был меньше, чем я ожидал. И темнее. Свет падал из узких окон, прорезая сумрак длинными полосами,

в которых танцевала пыль. Трон стоял на возвышении — деревянный, покрытый золотом, с высокой спинкой, на которой был вырезан грифон. Глаза из тёмного камня казались живыми, следящими за каждым моим шагом.

— Садился на него когда-нибудь? — спросил я.

Атеас покачал головой.

— Это не для таких, как я.

— А для таких, как я?

— Ты — писец. Твоё место за столом. В углу. — Он усмехнулся. — Но ты уже знаешь это лучше меня.

Мы вышли во внутренний двор. Небольшой, вымощенный круглыми морскими камнями, с фонтаном посередине. Вода в фонтане была мутноватой, едва слышно булькала, захлёбываясь в старых трубах. По периметру двора росли чахлые кусты роз — бледных, почти белых, с едва уловимым запахом.

— Это всё? — спросил я.

— Здесь живут стражи, — ответил Атеас. — И слуги. Царские покои — выше.

— Покажешь?

— Нет. Туда без зова не ходят.

Он посмотрел на меня без угрозы, но в его глазах читалось предупреждение.

— Ты видел достаточно для одной записи, — сказал он.

— Иди. Пиши. А я пойду.

— Куда?

— К царю. Он ждёт меня.

Атеас развернулся и ушёл в глубь дворца, исчезнув в тени колонны так быстро, будто его и не было.

Я остался один. Достал табличку, прислонился к колонне и начал писать. Стилль царапал воск, и этот звук казался мне подозрительно громким, словно дворец прислушивался к каждому моему слову.

«Дворец в Пантикапее не похож на те, что я видел на рисунках в свитках. Он меньше. Проще. Он не кричит о богатстве — он шепчет о нём. Или шепчет о страхе. Золото есть, но оно будто прячется. Мрамор есть, но он не ослепляет. Даже трон — главный в этом городе — стоит в полутьме, как будто ему стыдно или боязно показывать себя на свету. Атеас сказал: „Рим смотрит“. Может быть, в этом ответ. Мы не строим величественные дворцы не потому, что не можем. А потому, что не смеем. И это, пожалуй, страшнее любой бедности».

Я свернул табличку и вышел из дворца. Солнце стояло высоко, город шумел, торговал, спорил. У ворот стражники равнодушно перебирали монеты.

Я пошёл домой — записывать, переписывать, запоминать. Впереди был долгий день.

Агора

Из дворца я вышел другим человеком. Воздух за стенами казался чище, свет — ярче, а шум города — громче, чем прежде. Будто там, внутри, я задержал дыхание и только сейчас выдохнул.

Я пошёл к агоре.

Дорога вилась между домами, спускаясь всё ниже, к морю. Улицы становились уже, грязнее, люднее. Исчезли мраморные колонны и бронзовые ворота. Вместо них — облупившиеся стены, вывески лавок, намалёванные прямо на штукатурке, и горшки с чахлой зеленью на подоконниках.

Агора встретила меня стеной звуков. Гул голосов накатывал волнами, смешиваясь в одно сплошное, живое, дышащее месиво.

— Свежая рыба! С рыбацких лодок! Эй, ты! Не проходи мимо!

— Лучшее масло в Пантикапее! Только сегодня! Только сейчас!

— Пряности из Египта! Настоящая корица! Чувствуешь запах?

Запахов было не счесть — рыба, пряности, пот, жареное мясо, кожа, благовония из лавки парфюмера, навоз от мулов. Всё это смешивалось в густой, плотный воздух, который можно было не просто чувствовать, а пробовать на вкус.

Горький привкус дыма, солоноватые брызги с рыбных прилавков, терпкий дух старого вина из разбитой амфоры у обочины.

Мой стиль, сжатый в руке, казался в этой сутолоке инородным предметом — слишком чистым, слишком холодным для этого бурлящего, потного, живого мира. Я спрятал его за пояс. Потом.

Толпа подхватила меня, понесла.

Торговец овощами, коренастый, с красным от крика лицом, спорил с женщиной из-за подгнившего кабачка.

— Две монеты! Ты с ума сошла!

— У него гниль пошла! Я за такие гроши не возьму!

— Это не гниль! Это солнечный ожог!

Я улыбнулся. Те же споры, что и сто лет назад. И через сто лет будут такими же.

Меняла с масляными глазами, пересчитывая монеты, подмигнул мне:

— Друзьям царя — скидка.

Я поспешил отвернуться, чувствуя, как лицо заливают краска. Откуда он знает? Слухи в этом городе распространяются быстрее, чем чума в порту.

Лавка тканей, заваленная пестрыми отрезками льна и шерсти. Амфоры из Крита, Родоса, Коса — их горлышки торчат из плетёных корзин, как головы любопытных змей. Запах сушёной рыбы от старухи, которую все обходят стороной.

Агора жила. Дышала. Не замечала меня. И это было хорошо.

В тени портика я заметил троих мужчин в длинных хитонах. По выговору — греки. Возможно, афиняне, возможно — уроженцы малоазийских полисов. Один из них, пожилой, с короткой стрижкой, вдруг повернул голову и посмотрел прямо на меня.

Не просто посмотрел — уставился.

Я замер. Секунда. Другая. Потом он отвернулся и что-то сказал своим спутникам.

Между лопаток пробежал холодок. Показалось? Или нет? В этом городе, где Рим смотрит из каждой тени, трудно отличить настоящую угрозу от собственного страха.

Не сейчас, сказал я себе. Не здесь.

Я нашёл место у фонтана в центре агоры. Большая каменная чаша, из которой била тонкая струя воды — холодная, с металлическим привкусом. Я напился, присел на край, зачерпнул горсть воды и плеснул в лицо. Сразу стало легче.

Достал таблички.

Вокруг шумели, спорили, торговали. Никто не смотрел на меня. Я был просто одним из многих — писец, считающий чужие деньги. Именно таким меня хотел видеть царь.

Я начал писать.

Стиль царапал воск, и в этом звуке, таком знакомом, таком домашнем, я наконец обрёл покой среди хаоса.

«Агора в Пантикапее — это второй город внутри первого.

Здесь свои законы, свой язык, свой бог — золото. Я пришёл смотреть и слушать. Я видел, как меняла обманывает старуху — подменил монету, когда она отвернулась. Я слышал, как двое купцов спорят о цене на зерно — один из них наверняка врёт. Я чувствовал запахи, от которых кружится голова. И страх. Тоже чувствовал. В тени портика трое греков смотрели на меня слишком пристально. Может быть, мне показалось. Может быть, нет.

Всё это надо запомнить. Сохранить. Потому что это и есть жизнь. Не дворцы. Не фрески. А это — грязь, крики, пот, торг, страх. И те, кто через тысячу лет прочитают мои записи, должны знать: мы не только молились богам и воевали с Римом. Мы ещё ели, пили, торговались из-за каждой монеты, боялись чужих взглядов и не спали по ночам. Жили».

Я спрятал таблички и поднялся.

Тени под портиками стали короткими — солнце стояло в зените. Пантикапей готовился к самой жаркой поре дня, когда даже торговцы замолкают, прячась в спасительную тень.

Я пошёл дальше — в порт.

Туда, где море. Где пахнет смолой и солью. Где начинаются дороги, уходящие за горизонт.

Впереди был ещё долгий день. И я не хотел терять ни часа.

Порт (Лимен)

Тот же день, около полудня

Я не думал, что порт окажется таким грязным.

Не в смысле мусора на причалах — хотя его хватало. Грязным в смысле самой жизни: шумной, потной, усталой, жадной до каждого вдоха. Агора была шумной, но приличной. Порт — нет. Здесь всё было выставлено напоказ.

Запах ударил в лицо, как кулак: соль, гниющие водоросли, дёготь, свежая рыба, чья-то блевотина. Меня затошнило. Я зажал нос рукавом хитона, постоял так, привыкая к этой ядовитой смеси. Потом убрал руку и шагнул вперёд. Глаза защищало от едкого чёрного дыма — где-то жгли старые канаты, и гарь цеплялась за борта кораблей, как саван.

Я пошёл вдоль причалов. Ноги скользили по мокрым доскам, под которыми плескалась тёмная, маслянистая вода. Корабли стояли вплотную — уставшие, выдохшиеся, готовые ко сну. У одного из них я чуть не столкнулся с грузчиком — босым, с жилами на шее, вздувшимися от тяжести амфоры. Он выругался — грязно, хрипло, — и прошёл мимо. Я втянул голову в плечи. Таблички на поясе вдруг показались тяжелее любой амфоры.

Складские помещения пахли плесенью и зерном. Стражник, молодой, с рыжими усами, лишь бросил: «Туда, где платят», когда я спросил о судьбе зерна. Его взгляд был тяжё-

лым, подозрительным — мне казалось, он видит насквозь мои сомнения. Я отошёл и записал, прислонившись к стене:

«Порт — это место, где кончается ложь. Здесь пахнет страхом и усталостью. Грузчик проклинает амфору, стражник спит, надсмотрщик врёт. И все они знают, что завтра будет то же самое. Я не спросил, что будет с теми, кто не может платить. Потому что боялся ответа».

Я ушёл к рыбацким лодкам, где было тише. Старик чинил сети, его пальцы двигались быстро и привычно.

— Много вас тут ходит, — сказал он, не поднимая головы. — Писцов. Всё записываете. А сами-то записываете себя? Записываешь ли ты, как боишься?

Я замер.

— Без страха твои записи — пустышки, — добавил он. — Люди хотят видеть себя в твоих свитках не героями, а живыми.

Я сел на перевёрнутую лодку и записал:

«Рыбак прав. Я боюсь. Боюсь, что не успею, боюсь, что мои свитки сожгут, боюсь, что мой страх — это трусость. Но трусость — это тоже правда. Я запишу и её».

Солнце клонилось к западу. Тени от кораблей растянулись по воде, как длинные пальцы мертвецов. Где-то над заливом надрывно кричала чайка.

На выходе я оглянулся.

«Порт не впускает меня, — написал я напоследок. — Я чувствую себя чужим. Но сегодня я сделал первый шаг. Ес-

ли я не запишу эту грязь, эту усталость, этот страх — кто сделает это? Римляне напишут, что мы жили в золоте. А мы жили вот так — в поте, в боли. И я обязан сохранить это. Даже если правда горька».

Дорога домой шла в гору, и теперь, когда солнце окончательно скрылось, город изменился. Исчез дневной шум — на смену ему пришёл гул вечернего города. Зажигались факелы у входов в харчевни, потянуло дымом очагов и жареным мясом. Я шёл, стараясь не привлекать внимания, прижимаясь к тени стен.

Чем ближе я был к своему кварталу, тем отчётливее понимал: я больше не могу просто «видеть». Я стал частью этого механизма. Я чувствовал, как камни мостовой отдают в усталые ступни, как вечерний туман с пролива холодит разгорячённое лицо.

Мой дом встретил меня тишиной. Узкая, полуподвальная дверь, вечно заедающая петля, запах пыли и сухой бумаги — вот моё убежище. Внутри было прохладно, даже зябко после жаркого дня. Я зажёл маленькую масляную лампу, и её дрожащий огонёк выхватил из темноты мой стол.

Стол был пуст. Только чистые вощённые таблички лежали аккуратной стопкой, ожидая своей очереди.

Я опустил на стул, и спина отозвалась ноющей болью. Достал всё, что записал за этот день. Раскрыл одну табличку, вторую, третью. Почерк был неровным, кое-где буквы «плясали» — от спешки, от волнения, от страха. Я посмотрел на

свои руки — они были в пыли, а под ногтями забились дорожная грязь. Руки писца. Руки человека, который сегодня впервые увидел свой город не глазами царя, а своими собственными.

Я взял чистую табличку.

«Первый день завершён. Я выжил. Я записал. Завтра я вернусь к рыбаку, к меняле, к стражникам. Я буду искать правду в щелях между камнями, в обрывках фраз, в мутной воде фонтанов. Царь хотел историю. Он получит её. Но это будет не та история, которую он ожидал услышать. Это будет история города, который боится, мучается, но живёт».

Я затушил лампу. В темноте город за окном продолжал гудеть, дышать, жить. Но теперь этот гул казался мне не просто шумом, а ритмом, который я начинал понимать.

Храм Аполлона

22-й день месяца панем, 387 год Боспорской эры

Меня разбудил стук.

Три удара. Пауза. Ещё три. Я знал этот ритм — сухой, требовательный, как удар костяшками по дереву. Атеас.

Я сел на постели, и спина отозвалась ноющей болью — всю ночь я просидел за столом, уронив голову на таблички. Воск отпечатался на щеке, застыл белой коркой, стягивая кожу. Я потёр лицо, сдирая его ногтями, и почувдел под пальцами не гладкую кожу, а шершавую, колючую щетину. Когда я брился в последний раз? Не помню.

— Войди, — сказал я, и голос прозвучал хрипло, будто я не говорил несколько дней.

Дверь скрипнула — петля у неё вечно ныла, как старая собака. Атеас просунул плечо, потом весь, с узлом в руках. От узла пахло хлебом — тёплым, ржаным, только из печи. И ещё чем-то жареным, отчего в животе заурчало так громко, что я зажал его рукой.

— Ты не ешь, — сказал он, даже не поздоровавшись. Голос его был ровным, без упрёка, но я почувствовал себя нашкодившим мальчишкой.

— Я ем, — ответил я, хотя вчера забыл поесть. И поза-вчера.

Он развязал узел и выложил на стол лепёшку — ещё тёп-

люю, с присыпкой из муки. Кусок сыра, твёрдого, желтоватого, с кисловатым запахом. Горсть маслин — чёрных, маслянистых, блестящих в утреннем свете. Глиняную кружку с вином — из неё тянуло терпким, чуть дымным ароматом.

— Ешь, — сказал он. — Царь будет недоволен, если ты отощaeшь.

Я отломил кусок лепёшки. Тепло разлилось по языку, по нёбу, по горлу. Я жевал и чувствовал, как к жизни возвращается не только желудок — что-то ещё, что я уже начал забывать.

— Где ты был вчера? — спросил я с набитым ртом.

— Выполнял поручение царя, — ответил Атеас. Он сидел на табурете у стены, положив руки на колени. Спокойный, как камень. — Он велел проверить кое-что. Всё в порядке. Теперь я закончил. Буду рядом. Постоянно.

— Мне не нужна нянька.

— Царь считает иначе.

Я отпил вина. Оно обожгло горло, и тепло растеклось по груди.

— Ты не ходил со мной вчера, — сказал я. — На агору. В порт.

— Не ходил, — согласился он. — Но знаю, где ты был. Что ты делал. С кем говорил.

— Следил?

— Присматривал. — Он поправил нож на поясе — привычный жест, от которого у него дёрнулось плечо. — Царь

приказал. Чтобы с тобой ничего не случилось. А сегодня я иду с тобой.

— Сегодня я иду в храм, — сказал я. — Аполлона.

— Зачем?

Я хотел ответить: «Узнать, во что верят боспоряне». Вместо этого сказал:

— Не знаю. Но надо.

Он помолчал. Потом кивнул.

— Идём.

Улица встретила нас запахами. Отхожее ведро у соседской двери — кто-то не донёс до выгребной ямы. Жареный лук из харчевни на углу — там уже гремели горшками, готовили завтрак. Конский навоз — мимо только что провели лошадь, и я даже не заметил.

Я шёл, смотря под ноги. Камни мостовой были тёплыми, в щелях между ними пробивалась жёсткая, серая трава. Из дверей выскочил мальчишка, уставился на меня, разинул рот и заорал. Атеас усмехнулся:

— Ты страшный, писец. Дети плачут.

Я глянул в своё отражение в начищенном медном тазу у лавки торговца — осунувшееся, бледное лицо, глаза, ввалившиеся от бессонных ночей. Да, я выглядел как привидение из чужих свитков.

Город просыпался зло и торопливо, будто опаздывал на собственную казнь. Крик разносчика рыбы — «Эй, свежая! Из Понта!» — стук молотка из кузницы, визгливые споры

женщин у колодца. Всё сливалось в гул, от которого ныли виски.

Храм показался из-за угла — белые колонны, выросшие в небо. Мы вышли на площадь перед храмом. Здесь было тише. Каменные плиты — чистые, без мусора. И сладкий, дурманящий запах жасмина ударил в голову, заставив на миг потерять равновесие.

— Я буду здесь, — сказал Атеас. Он прислонился к колонне портика, скрестил руки на груди.

— Не уйдёшь?

— Не уйду.

Я кивнул и вошёл.

Внутри храма воздух был другим. Прохладным. Тяжёлым. Пахло ладаном — едким, горьковатым, от которого сразу запершило в горле. И ещё чем-то — старым деревом, пылью, веками.

Тишина давила на уши. Я слышал своё дыхание — слишком громкое, слишком частое. Слышал, как стучит сердце. Каждый удар отдавался в висках.

В глубине зала стояла статуя. Аполлон. Юный, безупречный, холодный. Белый мрамор, вырезанный так искусно, что казалось — бог сейчас шагнёт с пьедестала и заговорит.

Я подошёл ближе. Ноги скользили по плитам — они были холодными, гладкими, как лёд.

Я протянул руку и коснулся его стопы.

Мрамор был ледяным. Но под пальцами я почувдел... ти-

шину. Такую плотную, что она давила на уши. Будто кто-то кричал без звука, и я слышал этот крик каждой клеткой.

— Заходи, если пришёл.

Голос разорвал тишину, как удар ножа.

Я обернулся. Жрец стоял у колонны — высокий, худой, с длинной седой бородой, почти до пояса. Белая одежда с пурпурной каймой. В руках — серебряный жезл, увенчанный лавровым листом.

Я не слышал, как он вошёл. Не слышал, как подошёл.

— Я пришёл, — сказал я. Голос прозвучал чужим, хриплым.

— Вижу, — жрец усмехнулся одними уголками губ, без участия глаз. — Тот самый писец? Царь просил записывать правду. Что ж... проходи. Здесь только боги.

— И жрецы? — спросил я.

Он посмотрел на меня. В его глазах — светлых, выцветших, с красными прожилками — мелькнуло что-то живое. Уважение? Ирония? Я не понял.

— И жрецы, — сказал он тихо. — Если ты пришёл с открытым сердцем.

Мы долго говорили. О жертвах, об оракулах, о голосе внутри, который трудно отличить от страха. Я записывал. Стилль царапал воск, и в тишине храма этот звук казался мне криком.

Аполлон смотрел на меня сверху — белый, холодный, равнодушный. Или не равнодушный. Может быть, он просто

ждал, когда я закончу.

— Ты знаешь, почему этот город стоит до сих пор? — спросил жрец под конец.

— Потому что боги хотят этого?

— Потому что мы хотим этого, — он посмотрел на статую. — И платим им за это. Золотом. Вином. Кровью. Жертвенной. И не только.

Он замолчал. Я ждал, но он не добавил ни слова. Только стоял, глядя на Аполлона, и я видел, как его губы шевелятся — беззвучно, как у рыбы, выброшенной на берег. Молился? Или просто спрашивал о чём-то, чего сам не знал?

Я вышел из храма.

Солнце ударило в лицо, как пощёчина. Я зажмурился, прикрыл глаза рукой. В ушах всё ещё стояла тишина — храм не отпускал.

Атеас ждал у колонны с кружкой воды.

— Пей, — сказал он.

Я взял кружку. Вода была холодной, с металлическим привкусом. Я пил большими глотками, и вода стекала по подбородку, по шее, за воротник.

— Узнал, что хотел? — спросил он.

— Не всё, — ответил я. — Но достаточно.

Он кивнул. Мы пошли назад.

Дорога домой расплывалась перед глазами. Город гудел, как потревоженный улей, но я уже не слышал его. Кости ныли, в голове шумело, а перед глазами всё ещё стояла белая

статуя — холодная, безразличная, вечная.

Я чувствовал локоть Атеаса — он шёл рядом, иногда касаясь плечом. Впервые за долгое время я не боялся.

Мы вошли в дом. Атеас задвинул засов.

— Отдыхай, — сказал он. — Завтра рано вставать. В Нимфей. Царь велел. Там библиотека. Старые свитки.

— Ты пойдёшь со мной?

— Весь путь, — ответил он. — Постоянно.

Я лёг на постель, не раздеваясь. Ноги гудели, пальцы были в пыли. Я смотрел в потолок и слушал, как за окном шумит город. Но я слышал только свой голос внутри. Он говорил: «Ты на правильном пути. Не останавливайся».

Я повернул голову. На столе, рядом с грязной кружкой, лежала пустая табличка. Я протянул руку, взял её, прижал к груди. Воск был холодным, гладким. Завтра я напишу на нём новые слова. О Нимфее. О библиотеке. О свитках, которые ждали меня веками.

Атеас сидел у стены и смотрел на меня.

— Спи, — сказал он.

Я закрыл глаза.

За окном шумел город. Но я уже не слышал его. Я слышал только тишину.

Вечерний Пантикапей

Тот же день, 22-й день месяца панем, 387 год Боспорской эры

Я проснулся от того, что кто-то тряс меня за плечо.

— Вставай, — голос Атеаса был тихим, но настойчивым, как у человека, который привык, чтобы его слушались. — Ты спишь уже третий час. Солнце скоро сядет.

Я сел. Голова гудела, будто внутри кто-то бил в колокол. Во рту пересохло — язык прилипал к нёбу, и я с трудом проглотил вязкую, горькую слюну. Сон не принёс отдыха — я метался, проваливаясь в беспокойную тьму, просыпался от собственного крика, которого не было слышно никому, кроме меня, и теперь не мог понять, где нахожусь. Стены казались чужими. Даже стол, за которым я провёл столько ночей, смотрел на меня незнакомо — будто я впервые видел эти царапины на дереве, это масляное пятно, этот потускневший бронзовый подсвечник.

— Пей, — Атеас протянул кружку.

Вода была тёплой, с привкусом глины и ещё чего-то — может быть, ржавчины, может быть, самой усталости, которая пропитала всё вокруг. Я пил медленно, маленькими глотками, чувствуя, как влага стекает по горлу, наполняя пустой, сжавшийся от голода желудок.

— Что теперь? — спросил я. Голос прозвучал хрипло,

будто я не говорил несколько дней.

— Царь велел тебе смотреть, — Атеас пожал плечами. Движение было ленивым, почти сонным, но я заметил, как его глаза скользнули к двери — проверить, закрыта ли. — Вот и смотри. Вечерний город другой.

Я вышел на улицу, и воздух ударил в лицо — прохладный, пахнувший пылью, дымом из пекарен и чем-то сладковатым, гнилостным, от чего сразу запершило в горле. Солнце висело низко, застревая между крыш, и его косые лучи красили стены в цвет запекшейся крови — тёмно-красный, почти бурый, с золотистой каймой по краям.

Тени стали длинными, неестественно длинными — они тянулись от домов, от колонн, от редких прохожих, которые торопились, втянув головы в плечи, будто боялись, что тьма схватит их за шеи.

Атеас шёл на полшага сзади. Я чувствовал его присутствие — спокойное, внимательное, как у хищника, который не нападает, но и не упускает добычу. Это не давило. Наоборот — грело, как плащ в холодный вечер, который защищает не от холода, а от чего-то более страшного. От одиночества.

Мы пошли к агоре.

Днём она кричала — сотня голосов, сотня споров, сотня проклятий. Вечером — шептала. Торговцы сворачивали на весы, убирали товар, пересчитывали выручку, шевеля губами беззвучно, как рыбы, выброшенные на берег. Где-то разбилась амфора — я услышал глухой удар, потом звон, потом

ругань, такую грязную, что я невольно ускорил шаг. На камнях осталось тёмное маслянистое пятно, в котором отражалось закатное небо.

— Смотри, — шепнул Атеас, кивнув в сторону портика. Я посмотрел.

В тени колонн стояли трое мужчин. Не торговцы. Не ремесленники. Одежда дорогая — тонкий лён, который не мялся и не выцветал даже после многих стирок. На поясах — тяжёлые кошель, набитые так туго, что кожа на них лоснилась. Один из них, с лицом, острым, как обломок ножа, говорил что-то тихо, почти не разжимая губ. Двое других слушали, склонив головы, как псы, готовые броситься по первому приказу.

Я хотел подойти ближе. Сделал шаг.

Атеас положил руку мне на плечо — тяжёлую, как камень. Пальцы впились в кожу, и я почувствовал, как под ними забила жилка.

— Не надо, — сказал он. Голос его был спокоен, но в нём слышалось железо.

— Почему?

— Потому что те, кто прячется в тени, не любят, когда на них смотрят при свете дня.

Он не убрал руку, пока мы не свернули за угол. Только тогда его пальцы разжались, и я почувствовал, как кровь снова побежала по плечу — горячая, живая, напоминающая о том, что я ещё не умер.

Мы пошли дальше, к порту.

Корабли покачивались на воде, и их мачты скрипели — тонко, жалобно, как живые существа, которым больно, но они не могут крикнуть. Ветер донёс соль — и ещё дёготь, и ещё гниющие водоросли, и ещё что-то кислое, от чего сводило скулы.

Грузчики сидели у складов — уставшие, потные, с кружками вина в руках. Их лица в сумерках казались серыми, как зола. Один из них, старый, с обломанными ногтями и синими венами на руках, пел — тягуче, на чужом, гортанном языке, которого я не знал. Мелодия зацепила что-то внутри, будто кто-то плакал без слёз, и эти слёзы текли по моим внутренностям, выжигая их.

Я сел на валун, чувствуя, как холодный камень отдаёт тепло в уставшие ноги. Атеас опустился рядом.

— Ты когда-нибудь устаёшь? — спросил я.

— Устаю, — ответил он, не глядя на меня. — Все устают.

— Не похоже.

— Я не показываю, — он смотрел на море, где догорала последняя полоска заката — алая, как свежая рана. — Царь спас меня. Ты знаешь.

— Знаю.

— Я тогда был как щенок. Ничего не умел. Ничего не боялся — потому что не понимал опасности. — Он усмехнулся — криво, одними уголками губ. — Теперь понимаю. И боюсь.

— Чего?

— Всего. — Он повернулся ко мне, и я увидел его глаза — тёмные, глубокие, с красными прожилками от бессонницы. — Но особенно — не оправдать доверия.

Он замолчал. Я не стал спрашивать, что значит «оправдать». И так было понятно.

Мы сидели у воды, и я слушал, как бьётся сердце Пантикапея — не в груди, а в воздухе, в каждом скрипе мачты, в каждом всплеске волны, в каждом далёком крике, который приносил ветер.

Я достал табличку и начал писать.

«Вечерний Пантикапей не похож на дневной. Он тише. Он прячет лица. В тени портика трое мужчин в дорогах хитонах о чём-то договаривались. Атеас не дал мне подойти. Я благодарен ему за это — не потому, что испугался. Потому что понял: не всё, что я вижу, нужно записывать. Некоторые вещи нужно просто помнить. Про себя. На всякий случай».

Солнце село. Небо стало чёрным — не тёмно-синим, а именно чёрным, как бездна, которая смотрит на тебя и ждёт, когда ты сделаешь неверный шаг.

— Пора, — сказал Атеас.

Он поднялся первым, протянул мне руку. Я взял её — ладонь его была сухой, горячей, с мозолями на пальцах.

Дома я зажёл светильник.

Масло было старым — коптило, застилая комнату едким, липким дымом, от которого слезились глаза и першило в гор-

ле. Но я не обращал внимания. Я писал, пока пальцы не светело судорогой, пока спина не заболела от долгого сидения, пока в голове не осталось ни одной мысли — только слова, слова, слова.

«Первый день завершён. Я понял главное: этот город не расскажешь за один день. Не за десять. Может быть, не за всю жизнь. Но я попробую. Царь хотел правду. Я дам её ему. Даже если она будет горькой. Даже если она будет страшной. Ложь — это не жизнь. А я хочу, чтобы те, кто прочитает мои свитки через сотни лет, увидели настоящий Боспор. Не придуманный. Не вымытый. Не тот, который греки показывают римлянам, чтобы понравиться. А такой, какой он есть — в грязи, в крови, в поте, в слезах. И всегда — в надежде. Потому что без надежды даже самый великий город — просто груда камней».

Я затушил светильник.

В темноте я слышал, как за стеной Атеас укладывается на ночлег — судя по звуку, он не раздевался. Кожаный доспех скрипнул, нож звякнул о каменный пол, и тишина стала полной. Его рука не покидала рукояти — я знал это, даже не видя.

Я закрыл глаза.

Город за окном дышал. Я чувствовал каждый его вдох — тёплый, солёный, горький. И в этом дыхании было что-то древнее, что-то такое, что не умирает даже тогда, когда умирают города.

Я заснул. И мне не снилось ничего.

ГЛАВА 2. Продажный город. Дорога в Нимфей

23-й день месяца панем, 387 год Боспорской эры

Я проснулся затемно.

Атеас уже ждал у двери — не человек, а тень, обретшая плоть. В его глазах не было ни следа сна, будто он вовсе не нуждался в отдыхе, будто он был стражем, который питается тишиной и темнотой.

— Ты не спал? — спросил я, садясь на постели. Голос прозвучал хрипло, будто я не говорил несколько дней.

— Спал, — ответил он. — Мало. Но достаточно.

Я поплёлся к кувшину с водой. Ледяная, с металлическим привкусом, она не освежила — она обожгла горло, ударила в голову, лишь усилила ноющую тяжесть в висках. Я плеснул на лицо, растёр, но усталость сидела глубоко — в костях, в суставах, в самой селезёнке.

Хитон был единственным чистым. Тонкая ткань противно липла к ещё влажной коже, вызывая мурашки, будто тысячи крошечных игл впивались в спину. Стиль за поясом казался чужим, неподъёмным — не инструментом писца, а оружием, которое я не умел держать.

— Идём, — сказал Атеас, и я пошёл.

Улицы были пусты. Даже собаки спали, свернувшись в

клубки у порогов. Мы шли переулками, где дома жались друг к другу, как заговорщики перед казнью. Стены были влажными от ночной росы, пахло сыростью, мочой и прошлогодней рыбой.

У потайной калитки в городской стене Атеас остановился.

— Царь распорядился, — голос его был едва слышен, но каждое слово врезалось в темноту, как удар ножа. — Выходить тихо. Чтобы те, кому не надо знать, не видели.

Калитка открылась с жалобным скрипом — будто раненое животное закричало, и никто не услышал.

Нас выплюнуло в степь.

Первый вдох был как удар хлыстом. Воздух здесь был не просто чистым — он был «голым», первозданным, пропахшим полынью и сухой землёй. Горьким. До боли в горле, до рези в глазах.

Мы шли вдоль моря.

Волны дышали. Ритмично, тяжело, как спящий зверь, который вот-вот проснётся и сожрёт тебя. Этот гул проникал в кости, в зубы, в самый череп. Я чувствовал его каждой клеткой, и он то успокаивал, то доводил до бешенства своей равнодушной вечностью.

Справа тянулись холмы — сухие, выжженные солнцем кости земли, на которых редкая трава казалась клочьями облезлой шерсти на трупе. Камни торчали из неё, как сломанные зубы. Ветер дул с моря — солёный, липкий, он оседал на губах, и я всё время облизывал их, чувствуя привкус крови.

Дорога была пыткой.

Сначала — гравий. Мелкий, острый, он хрустел под сандалиями, как раздробленные кости. Каждый шаг отдавался в пятках острой болью. Потом — пыль. Вязкая, нагретая, липкая, она забивалась в складки хитона, в поры, под ногти, в самые мысли. Я чувствовал, как она скрипит на зубах.

Через час ноги гудели.

Через два — я перестал их чувствовать. Они двигались сами — механически, тупо, как у куклы, которую дёргают за нитки. Каждая сандалия превратилась в орудие пытки — ремни врезались в распухшие ступни, подошвы жгли раскалённые камни.

Атеас шёл впереди. Его спина была прямой, шаг — ровным. Ни тени усталости. Ни вздоха. Ни стоны. Это бесило. Это пугало.

— Ты не устал? — выдохнул я, когда сил молчать больше не осталось.

— Устал, — ответил он, не оборачиваясь. — Но не могу себе позволить.

— Почему?

— Если я расслаблюсь — тебя убьют.

Он сказал это так же спокойно, как если бы предупредил, что впереди колдобина или что через час будет привал.

— Кто?

— Те, кому не нужна правда.

Мы шли дальше. Я смотрел на его спину и думал. О смер-

ти. О правде. О том, что мой стиль за поясом — плохая защита от тех, кто охотится с мечами.

К полудню мир превратился в марево. Солнце налилось яростью. Оно не светило — оно плавило. Воздух дрожал над камнями, и в этом дрожании холмы начинали медленно плыть, меняя очертания, будто кто-то переставлял их, как фигурки на игровой доске.

Я увидел ручей. Не поверил своим глазам. Но Атеас свернул к нему, и я понял — не мираж.

Я сорвал сандалии. Кожа на пятках вздулась прозрачными волдырями, пальцы распухли, покраснели. Я погрузил ноги в воду, и это было почти как спазм — боль, облегчение, ещё боль. Ледяная вода обожгла ступни, и я зашипел сквозь зубы.

Атеас стоял рядом, глядя на дорогу. Мы не пробыли здесь и пяти минут.

— Хватит, — сказал он.

— Не хватит, — ответил я.

— Надо идти.

Я надел сандалии. Волдыри лопнули, и я почувствовал, как по пяткам течёт что-то тёплое и липкое. Кровь.

Достал табличку. Пальцы дрожали, воск крошился под стилем.

«Правда здесь — не истина. Правда — улика. Я несу её в сумке, и она жжёт мне бока. Атеас говорит, что меня могут убить. Я ему верю. Но страшно не от этого. Страшно от того, что я не знаю — когда. И кто. И успею ли я закончить».

Мы пошли дальше.

Запах Нимфея мы почувствовали раньше, чем увидели город.

Он выползал из низины, как дыхание больного зверя — тяжёлый, гнилостный, сладковато-тошнотворный. Рыбные кишки, гниющие водоросли, дешёвое вино, пот, немытые тела, кошачьи экскременты. Всё это смешивалось в густой, вязкий воздух, который невозможно было вдохнуть полной грудью.

— Чем там пахнет? — спросил я.

— Жизнью, — ответил Атеас.

И мы увидели город.

Нимфей лежал внизу, прижатый к морю, как нечистое бельё к камню. Белые стены казались облупленными — сквозь побелку проступали серые, грязные камни. Черепица на крышах была выцвевшей, кое-где зияли дыры. Колонны храмов стояли криво — как покосившиеся зубы в больном рту.

Мы подошли к воротам. Стражник, молодой, с лицом, изъеденным оспой, узнал Атеаса. Кивнул. Пропустил.

— Красивый город, — сказал я.

— Красивый, — согласился Атеас. — Но внутри он другой.

Мы вошли.

И город навалился на нас.

Узкие улицы давили на плечи. Дома стояли так близко,

что неба почти не было видно — только узкая полоса где-то наверху, бледная, выцветшая. В тени портиков кто-то шептался, перетирая кости чужих репутаций. Из окон смотрели глаза — жадные, холодные, оценивающие.

Здесь не было богов. Здесь не было статуй на перекрёстах, не было алтарей у фонтанов. Вместо них — вывески менял, лавки ростовщиков, грязные таверны с зашторенными дверьми.

Нимфей дышал страхом и золотом.

Я сунул руку за пояс. Стилль был на месте. Холодный. Острый.

Я не знал, смогу ли защитить себя им. Но другого оружия у меня не было.

Нимфей. Город, который помнит

23-й день месяца панем, 387 год Боспорской эры

Нимфей не встретил нас. Он набросился.

Запах ударил первым — не просто вонь, а плотная, осязаемая стена. Гнилой, сладковато-тошнотворный, как дыхание разложения. Рыбные кишки, прогорклое вино, кислая моча, дешёвый пот, гниющие водоросли, кошачьи экскременты — всё это спрессовалось в один густой, липкий ком, который забивался в лёгкие, оседал на языке, въедался в кожу.

Я замер на пороге, чувствуя, как желудок подкатывает к горлу, как внутри всё сжимается от омерзения. В Пантикапее пахло морем, пряностями, ладаном — даже грязь там была другой, благопристойной. Здесь пахло смертью, запертой в тесном пространстве, здесь пахло так, будто город давно умер и только сейчас начинал разлагаться.

— Чем здесь пахнет? — спросил я, пересиливая тошноту. Голос прозвучал чужим, сдавленным.

— Нами, — ответил Атеас. И в его голосе не было горечи. Только констатация. Только холодная, давняя правда.

Мы вошли.

И сразу город сжал нас. Улицы были не просто узкими — они были проглотившими. Дома жались друг к другу, как обезумевшая толпа, которая не может расступиться. Облупившиеся стены обнажали серую, болезненную плоть камня —

камня, который когда-то был белым, но гниль въелась в него насквозь. Кое-где чернели следы старых пожаров, которые никто не спешил смывать. Не хотели забывать.

— Почему не забелят? — спросил я.

— Чтобы помнили, — ответил Атеас.

Город не верил богам. Статуй не было. Ни Гермеса на перекрёстке, ни Аполлона у фонтана, ни Афродиты в нише. В Пантикапее боги смотрели с каждого угла — даже если ты не верил, они напоминали о себе. Здесь вместо богов — тяжёлые железные засовы, кованые решётки на окнах, массивные двери с проржавевшими петлями. Здесь верили только в то, что можно запереть на ключ.

И в деньги.

И в ненависть.

Но хуже всего были глаза.

Они сверлили из теней портиков, из щелей между ставнями, из полуоткрытых дверей таверн, из утроб подвалов, где кто-то шептался и перетирал кости чужих репутаций. Холодные, оценивающие, жадные. Они смотрели не на нас — они щупали нас. Ощупывали мой хитон — пантикапейский, тонкий, чужой здесь. Ощупывали таблички на поясе — знак того, что я не торговец и не воин. Ощупывали меч Атеаса, сумку, лица.

— Сын торгашей пожаловал, — прошелестело откуда-то из темноты. Голос был сухим, как треск ломающейся кости. Я не понял, кто сказал. Старуха у колодца? Нищий на ступе-

нях? Или сам город говорил со мной голосами своих теней?
— Сын Пантикапея, — добавил другой голос. — Ищейка царя.

— Не смотри на них, — тихо, сквозь зубы сказал Атеас.
— Они ждут твоего страха.

— Я не боюсь, — ответил я, хотя внутри всё сжалось в тугой, холодный ком.

— Боишься. Это нормально. Но не показывай.

Я уставился под ноги.

Мостовая была скользкой, покрытой липким налётом, который копился десятилетиями — чья-то блевотина, пролитое вино, рыба, слизь, собачьи экскременты. В Пантикапее улицы мыли. Здесь грязь не трогали. Она была частью города, как память.

Каждый шаг отдавался пульсирующей болью в пятках. Волдыри лопнули ещё в дороге, и теперь сандалии были влажными изнутри — от крови, от пота, от этой липкой городской слизи. Кожа на пальцах стёрлась, и я чувствовал, как каждый нерв обнажён, как каждый камень врежется в живую плоть.

Атеас остановился у низкой двери — невысокой, вдавленной в стену, которая когда-то была белой, а теперь казалась серой, как старая кость. Постучал. Три удара. Пауза. Два.

Дверь открылась не сразу. Сначала мы слышали шаги — тяжёлые, неспешные, как у человека, который не привык ни перед кем торопиться. Потом скрип засова — долгий, визг-

ливый, как крик раненого животного. Потом на пороге появился он.

Мужчина был похож на свой город — мясистое, оплывшее лицо, заплывшие жиром маленькие глаза, короткая шея, которая, казалось, вращалась в плечи. Кожа — серая, в рывинах, как старая мостовая. Одежда — бедная, но чистая: льняная туника, кожаные сандалии. На поясе — связка ключей. Тяжёлых, бронзовых, звенящих.

Он посмотрел на нас. Долго. Молча. Сначала на Атеаса — узнал? Может быть, встречались раньше. Может быть, просто запомнил лицо. Потом на меня — и его взгляд стал другим. Липким. Как будто он раздевал меня глазами, оценивая: сколько можно взять, сколько выжать, сколько запросить.

— Чего надо? — спросил он. Голос был грубым, как скрежет наждака по камню. Без приветствия. Без «заходи». Без «будьте как дома».

— Ночевать, — сказал Атеас. — И пройти в библиотеку.

— Библиотека закрыта.

— Откроется.

— Кто ты такой, чтобы приказывать? — В его голосе не было злобы. Только холодное, давнее презрение. Презрение человека, который ненавидел нас ещё до того, как увидел. Потому что мы из Пантикапея. Потому что наши отцы купили его дедов. — Ты помнишь, что сделал ваш царь с нашим городом?

— Помню, — коротко бросил Атеас.

— Как резали афинян? Как кровь текла в колодцы? Как мой дед три дня не мог отмыть ступени своего дома? — Мужчина усмехнулся. В усмешке не было веселья. Только горечь. Только память, которая не отпускала. — И после этого ты приезжаешь и говоришь: «Откройте библиотеку»?

— Я приезжаю не к тебе, — сказал Атеас. — Я приезжаю к хранителям.

— Хранители тоже помнят.

Атеас молча достал из-за пазухи кошель. Кожаный, туго набитый. Бросил на ладонь — монеты звякнули глухо, увесисто. Хорошее серебро. Пантикапейская чеканка. Грифон на монетах смотрел на мужчину своими каменными глазами.

Мужчина посмотрел на кошель. Потом на Атеаса. Потом снова на кошель. Пальцы его дрогнули — я заметил это движение, короткое, почти незаметное, как спазм.

— Пантикапей думает, что всё можно купить, — сказал он. Но кошель взял. Взвесил на руке. Кивнул.

— Я не Пантикапей, — ответил Атеас. — Я человек.

— Ты служишь царю, который купил наш город двести лет назад. — Мужчина спрятал кошель за пазуху. — Через час отведу. Ждите.

Он посторонился. Мы вошли.

Внутри было темно. Свет проникал только сквозь щели в ставнях — тонкие, жёлтые полосы, в которых танцевала пыль. Пахло кислым вином и жареным луком — запах въелся в стены, в потолок, в каждую трещину. На столе — грязь

ные кружки, объедки, окаменевший хлеб. В углу — масляная лампа. Она коптила, и чёрный дым стлался по потолку, оседая на стенах чёрным, липким налётом.

Я сел на лавку. Ноги гудели, спина болела, в голове шумело. Я снял сандалии — кожа на пятках была содрана до мяса, и я увидел, как из ран сочится сукровица, смешанная с грязью.

— Они нас ненавидят, — сказал я, глядя на свои ноги.

— Да, — ответил Атеас. Он стоял у двери, положив руку на нож.

— За то, чего мы не делали.

— Неважно. Для них мы — те, кто купил их город. И будем ими всегда.

— А если я запишу правду?

— Какую правду? О том, что виноваты те, кто давно умер?

— Да.

Атеас посмотрел на меня. В его глазах не было насмешки. Только усталость. Такая глубокая, что у меня перехватило дыхание.

— Они не хотят правды, — сказал он. — Они хотят ненавидеть. Это единственное, что у них осталось.

Я достал табличку. Руки дрожали. Пальцы не слушались. Я боялся, что стиль проткнёт воск насквозь — так сильно я сжимал его.

«Нимфей — не город. Нимфей — рана. Я чувствую её каждой клеткой — она в воздухе, в запахах, в глазах, в тиши-

не, которая наступает, когда мы проходим мимо. Здесь помнят то, что забыли в Пантикапее. Здесь не прощают. Здесь ждут, когда мы уйдём, чтобы продолжить свою вечную, бессмысленную ненависть. Пантикапей торгует. Пантикапей забывает. А Нимфей помнит. И эта память — как заноза в воспалённом мясе. Она гноится, но её не вытаскивают. Не хотят. Потому что без ненависти — пустота. Атеас сказал: они не хотят правды. Они хотят ненавидеть. Может быть, он прав. Но я всё равно запишу. Потому что если не я — никто».

Я спрятал табличку.

Атеас сидел у двери, положив руку на нож.

— Спи, — сказал он.

— Я не усну.

— Тогда не спи. Но молчи.

Я закрыл глаза.

За стеной кто-то считал монеты — сухой, жадный звук. Металл звенел о металл, пальцы шуршали по коже кошель. Город дышал за стенами. Тяжело. Неровно. Как больной, который не может умереть, но и не хочет жить.

Я лежал с открытыми глазами и слушал, как Нимфей помнит.

Старый жрец. Рассказ о Гилоне

23-й день месяца панем, 387 год Боспорской эры

Человек с ключами ушёл, и тишина в комнате стала другой.

Не той, что была до него — настороженной, злой, готовой

к удару. А тяжёлой. Как свинцовая плита, которую опустили на грудь. Как вода, которая заливает лёгкие, когда ты тонешь, и нет сил выплыть.

Я сидел на лавке, сжимая стиль, и смотрел на облупившиеся фрески на стенах. Деметра с факелом. Афродита, выходящая из пены. Сатир с виноградной гроздью. Краски потускнели, лица богов стёрлись в бесформенные пятна, и в мерцающем полумраке масляной лампы они казались не святыми, а призраками. Запертыми в этом склепе. Проклятыми помнить то, что живым помнить не положено.

Атеас замер у двери, не снимая руки с рукояти ножа. Он не смотрел на меня. Он слушал город — тот, что дышал за стенами тяжело, неровно, как больной, который не может умереть, но и не хочет жить.

— Проводит, — глухо сказал он.

— Откуда знаешь? — спросил я, хотя мне было всё равно. Мне нужно было слышать голос. Любой голос. Лишь бы не эту тишину.

— Взял монеты, — ответил Атеас. — Если бы не взял — не знаю. Но взял. Значит, проводит.

Он не добавил, что для человека с ключами мы — не гости, не просители, не посланцы царя. Мы — доход. Ходячие кошельки, которые принесли с собой пантикапейскую заразу, серебро с грифоном и надежду, что здесь, в этом гнилом городе, можно купить всё. Даже память.

Человек с ключами вернулся через час. Может, через два.

Я потерял счёт времени. Он не смотрел на нас — сразу двинулся к выходу, и мы пошли за ним, как собаки на поводке.

Улицы Нимфея к закату превратились в лабиринт.

Тени от колонн ползали по камням, как живые существа — длинные, неестественно вытянутые, они тянулись к нам, пытались схватить за лодыжки, утянуть в темноту. Воздух стал гуще, тяжелее, пахло уже не просто гнилью — пахло отчаянием. Тем, которое копится годами, когда живёшь в городе, который когда-то продали, и не можешь ни забыть, ни простить.

Я чувствовал взгляды.

Холодные. Липкие. Они впивались в спину, словно тысячи невидимых игл, и я невольно сутулился, пытался стать меньше, незаметнее, слиться с тенями. Но тени не принимали чужаков. Тени Нимфея помнили.

Мы вышли к зданию в конце улицы.

Покосившиеся колонны. Провалившаяся крыша. Ступени, заросшие мхом — зелёным, скользким, пахнущим болотом. Храм Деметры выглядел как разверстая могила. Место, куда приходят умирать. Не телом — душой.

— Хранитель внутри, — буркнул проводник, не глядя на нас. — Старый, как этот город. И злой, как пёс, у которого отняли кость.

— Почему злой? — спросил я, хотя уже знал ответ.

— Потому что помнит.

Он ушёл, не оглянувшись. Его шаги затихли где-то в пере-

улке, и мы остались одни перед дверью, которая вела в склеп.

Атеас постучал. Три удара. Пауза. Два.

Дверь открылась не сразу. Сначала — тишина. Такая плотная, что заложило уши. Потом — шарканье. Кто-то медленно, с трудом волочил ноги по каменному полу. Потом — скрип. Долгий, визгливый, такой болезненный, будто заржавевшее железо рассекало саму плоть времени.

На пороге стоял жрец.

Он был древним.

Не просто старым — древним. Высушенным, как свиток, пролежавший в земле несколько веков. Кожа — жёлтая, сморщенная, пергаментная, натянутая на острые скулы. Глаза — мутные, выцветшие, с бельмом на левом, которое, казалось, видело больше, чем два моих здоровых глаза. Рот провалился — зубов не осталось, и это превращало его лицо в маску. Страшную. Безрадостную.

— Из Пантикапея? — спросил он. Голос скрипел, как песок, который перетирают между камнями.

— К царю, — ответил Атеас. — Им нужна библиотека.

— Знаю.

— Пустишь?

— Пущу.

Он посторонился, пропуская нас.

Внутри пахло не просто пылью и сыростью. Пахло ладаном, смешанным с тленом. Как в склепе, где покойника слишком долго не хоронили, но каждую субботу приходили

курить благовония, чтобы заглушить запах разложения.

Храм жил и умирал одновременно. Камни дышали холодом, своды давили на плечи, и мне казалось, что я нахожусь не в святилище богини плодородия, а в утробе, которая переваривает всё живое и не может остановиться.

Жрец провёл нас в комнату, где горела одна масляная лампа. Света было так мало, что я различал только очертания — стол, лавку, полки со свитками. Свитков было много. Они лежали ровными рядами, истлевшие, рассыпающиеся, и пахли пылью и веками.

— Садись, — жрец кивнул на лавку. — Атеас, ты стой. Твоё дело — сторожить. Слушать, как гибнет правда.

Атеас не ответил. Прислонился к стене, положив руку на нож. Его лицо в полумраке казалось вырезанным из камня.

Я сел. Лавка была холодной — такой холодной, что я почувствовал, как мороз пробирает сквозь хитон, сквозь кожу, до самых костей.

Жрец сел напротив. Я смотрел на его лицо — и вдруг понял, что оно не просто старое. Оно израненное. Не шрамами — памятью. Он помнил то, что город пытался вытеснить в подвалы и сточные каналы. То, что жители Нимфея носили в себе, как беременная женщина носит мёртвого ребёнка.

— Ты хочешь знать о Гíлоне, — сказал он.

Это был не вопрос. Это был приговор.

— Хочу, — ответил я, и мой голос прозвучал чужим, хриплым.

— Зачем? — он наклонил голову, и его мутные глаза впились в меня. — Чтобы записать? Чтобы царь прочитал и сказал: «Да, было дело, налей ещё вина, писец, слишком страшно слушать»? Чтобы ты получил свои монеты и ушёл, а мы остались здесь — с этой раной, которая никогда не заживёт?

— Чтобы не забыли, — сказал я.

Стиль в моей руке дрожал. Я сжимал его так сильно, что костяшки побелели.

— Не забыли? — Он усмехнулся. Беззубым ртом. Страшно. Безрадостно. — Мы не забыли, писец. Мы не можем забыть. Это проклятие — помнить то, что другие хотят стереть. Вы, в Пантикапее, забелили стены, вымыли улицы, поставили статуи богам и делаете вид, что ничего не случилось. А мы живём с этой гнилью внутри. Потому что у нас нет другого выбора.

Он замолчал.

Снаружи город стонал. Может быть, ветер. Может быть, голоса тех, чьи кости давно стали пылью, но чья кровь до сих пор не впиталась в землю.

— Ты знаешь, как пахнет предательство? — спросил он вдруг.

Я молчал.

— Как серебро. Как монеты, которые пересчитывают в темноте. Как вино, которым запивают сделку, когда уже слишком поздно отказываться. — Он поднял на меня глаза, и я увидел в них то, что не хотел видеть. Боль. Тысячелет-

нюю. Передающуюся по наследству, как цвет глаз, как форма черепа, как чахотка. — Гйлон. Афинский гармост. Он держал ключи от наших жизней. И он их продал.

— Когда это было? — спросил я.

— В четвёртый год девяносто шестой олимпиады, — ответил жрец. — Если ты умеешь считать олимпиады. Или примерно через двести лет после основания Пантикапея. Примерно за двести лет до того, как твой царь Рескупорид сел на трон. Цифры... — он покачал головой, — ...цифры не важны. Важно то, что город пал. И пал не от меча. От серебра.

— Расскажи, — попросил я, доставая табличку.

— Слушай.

Он откинулся на лавке, и я увидел, как его пальцы — скрюченные, узловатые, с жёлтыми ногтями — сжимаются в кулаки.

— Нимфей стоял на берегу. У него была гавань — удобная, защищённая от ветров. Сюда могли заходить корабли, когда в Пантикапее штормило. Сатир Первый, царь Боспора, хотел эту гавань. Не для того, чтобы торговать. Для того, чтобы никто не торговал здесь, кроме него. Ему мешали афиняне. И он решил убрать их с дороги.

Я записывал. Стиль царапал воск, и в этом звуке мне слышались шаги — шаги людей, которые шли на смерть двести лет назад.

— Гйлон был гармостом — комендантом афинского гар-

низона. Он отвечал за город, за стены, за ворота, за солдат. И он был беден. Не нищ, но беден. А Сатир был богат. Очень богат. У него было золото, которое он добыл на торговле зерном. И он предложил Гíлону сделку.

— Какую?

— Нимфей в обмен на Кепы. Городок на азиатском берегу. Маленький, ничтожный городишко. И золото. Много золота. Гíлон торговался. Может быть, долго. Может быть, не очень. Никто не знает. Но в одну ночь ворота Нимфея открылись.

— Какие ворота?

— Все, — жрец почти выкрикнул это слово. Его голос скрипнул, сорвался, но в нём было столько боли, что я вздрогнул. — Городские. Цитадельные. Даже калитки, о которых никто не знал, кроме гармоста. Люди Сатира вошли без боя. Афинский гарнизон даже не успел проснуться. Их перерезали в казармах — спящих, пьяных, ничего не подозревающих.

Он замолчал. Грудь его тяжело вздымалась, и я видел, как под жёлтой кожей бьётся жилка.

— Кровь текла по улицам, — сказал он тише. — Как вода после ливня. Она доходила до щиколоток. Люди выбегали из домов и падали в лужи, потому что не понимали — где грязь, а где кровь. Колодцы забило трупами. Потом воду нельзя было пить годами.

— А Гíлон? — спросил я. Горло пересохло.

— Гíлон получил своё. — В голосе жреца была горечь. Такая густая, что её можно было пить, как вино. — Сатир дал ему Кепы. И золото. Столько, что можно было купить целую флотилию. Гíлон ушёл. Сначала в Кепы. Потом, говорят, вернулся в Афины.

— И что с ним стало?

— Он женился. У него родилась дочь. А у дочери — сын. Знаменитый оратор. Тот, кто громил Филиппа Македонского своими речами.

Я замер.

— Демосфен?

— Демосфен, — кивнул жрец. — Внук предателя. Который клеймил позором других, а сам носил в жилах кровь человека, продавшего целый город за золото и клочок земли.

Я не мог дышать. Я смотрел на жреца, на его беззубый рот, на его мутные глаза, и вдруг понял, что он не просто рассказывает. Он там был. Не телом — душой. Он нёс эту память, как крест, как проклятие, как камень на шее, который тянет на дно.

— Афиняне приговорили Гíлона к смерти, — продолжал жрец. — Заочно. Но потом почему-то помиловали. За золото. Или за связи. Или потому, что им нужен был боспорский хлеб. А хлеб давал Сатир. И они закрыли глаза. Все закрыли. А мы остались здесь. С этой раной. Которая гноится, как старая заноза в воспалённом мясе. Мы вытаскиваем её, и не можем. Потому что без неё — пустота. Без ненависти

— нечем дышать.

— Вы ненавидите нас, — сказал я. — За то, чего мы не делали.

— Мы ненавидим ваших отцов. И дедов. И прадедов. — Он посмотрел мне в глаза. — А вы для нас — они. Потому что вы не хотите помнить. Потому что вы стираете правду, забеливаете стены и говорите: «Было дело. Прошло. Не ворошить». А для нас — не прошло. Не прошло, писец. И не пройдёт никогда.

Он замолчал. Я дописывал последние строки, чувствуя, как дрожат пальцы, как стиль выскальзывает из мокрой ладони.

— Ты запишешь это? — спросил он.

— Запишу, — ответил я.

— И что ты сделаешь с этой записью? Покажешь царю? Он прочитает и скажет: «Страшно, горько, но что я могу поделать? Я не отвечаю за предков». А через двадцать лет никто и не вспомнит. Как не вспомнили о крови, которая забивала колодцы.

— Я вспомню, — сказал я.

— Ты умрёшь, писец. — Он смотрел на меня, и в его глазах не было злобы. Только усталость. Такая глубокая, что у меня перехватило дыхание. — Все мы умрём. А город останется. С этой раной. С этой памятью. И будет ненавидеть. Потому что без ненависти здесь — пустота.

Он поднялся. Медленно, опираясь на стол, на стену, на

собственную волю.

— Забирай свои свитки, — сказал он. — И уходи. Дальше ты сам.

— Спасибо, — сказал я.

— Не за что.

Он повернулся к стене, к своим истлевшим свиткам, к лампаде, которая догорала, чадя и отбрасывая последние тени.

— Только смотри, писец, — бросил он через плечо. — Чтобы через двести лет кто-то не записал правду о тебе так же, как ты записал правду о нас. Чтобы твои свитки не сожгли. Чтобы твоё имя не стёрли, как стирают имена тех, кто мешает жить спокойно.

Я не ответил.

Я сунул табличку за пояс. Она жгла мне бока. Правда жгла. Я чувствовал её — горячую, живую, пульсирующую, как рана, которую только что нанесли.

Мы вышли в ночь.

Нимфей спал. Тяжело, тревожно, неровно — как больной, который боится закрыть глаза, потому что знает: может не проснуться.

Над городом висели звёзды. Равнодушные, холодные, далёкие. Глаза богов, которые давно отвернулись от этого места. Или никогда и не смотрели.

Я шёл, чувствуя, как внутри меня что-то надломилось. Я больше не был просто писцом, который записывает слова ца-

ря. Я стал хранителем крови. Той самой, которая забивала колодцы Нимфея двести лет назад.

Я знал: теперь эта кровь — на моих руках.

И смыть её невозможно.

Никогда.

Утро на развалинах

24-й день месяца панем, 387 год Боспорской эры

Я проснулся от холода.

Он проник в меня за ночь — не сквозняк, а что-то другое, глубинное. Холод камня, который помнил кровь. Холод веков, которые смотрели на меня с облупившихся фресок.

Ноги затекли. Спина ныла так, что я не мог разогнуться. Я долго сидел на лавке, растирая онемевшую руку, чувствуя себя стариком, хотя мне не было и тридцати. Пахло ладаном, смешанным с тленом. Этот запах въелся в одежду, в волосы, в кожу.

Атеас уже стоял у двери. Одетый. При оружии. Его тёмные, непроницаемые глаза изучали меня без всякого сочувствия — только холодная оценка: живучий, вставай, пора.

— Вставай, — бросил он. — Осмотрим руины, пока не поднялось солнце.

— Зачем? — мой голос прозвучал хрипло, будто я не говорил несколько дней.

— Чтобы нас не увидели. — Он поправил нож на поясе. — В этом городе каждый взгляд стоит денег, а каждый вопрос — петли на шее.

Я поднялся. Ноги слушались плохо, но я заставил их идти. Мы вышли.

Нимфей спал. Улицы казались провалами в небытие —

узкими, чёрными, пахнущими мочой и гнилью. Тени скользили вдоль стен, и я не мог понять: люди это, собаки или призраки тех, кого убили здесь две сотни лет назад.

Мы вышли к храмовому комплексу.

Он стоял на краю города, у самой воды. Покосившиеся колонны лежали в пыли, заросшие мхом — зелёным, скользким, пахнущим болотом. Они напоминали кости гигантских животных, забытых богами. Может быть, так оно и было.

— Здесь была Деметра, — Атеас указал на развалины. Голос его был ровным, безразличным, но я заметил, как его пальцы сжались на рукояти ножа. — А там — Афродита. Теперь — ничего.

— Здесь молились, — прошептал я, касаясь шершавого камня.

Он был холодным. Таким холодным, что пальцы онемели. Но под этим холодом я чувствовал что-то ещё. Пульс? Дыхание? Или просто собственный страх, который стучал в висках?

— Здесь убивали, — отрезал Атеас. — Когда Гилон открыл ворота, люди бежали сюда. Думали, боги спасут. Не спасли.

Я отдёрнул руку. Мне показалось, что камень обжёг меня.

Мы пошли дальше. Между обломками статуй. Между камнями, которые помнили шаги тех, кто уже никогда не вернётся. Я смотрел под ноги, боясь наступить на чью-то тень.

Вдруг Атеас замер. Поднял руку. Я замер тоже, боясь дышать.

В утренней тишине, такой плотной, что она давила на уши, я услышал голоса. Тихие. Напряжённые. Полные отчаяния и страха. Они звучали как струна, которая вот-вот лопнет.

— Я не хочу больше прятаться, — сказал женский голос. Скифский акцент — я узнал его сразу. Так говорили наёмники в порту, так говорили женщины, торговавшие рыбой на агоре. Но в этом голосе не было грубости. Была боль. — Мы уйдём сегодня.

— Сегодня стража у ворот, — ответил мужской. Грек. Молодой. Испуганный. — Они проверяют всех.

— А завтра?

— Завтра — тоже.

— Тогда когда? — В её голосе прорвалось отчаяние. Такое живое, такое настоящее, что у меня сжалось сердце.

Тишина.

Атеас сделал шаг. Я — за ним, чувствуя, как колотится сердце, как кровь стучит в висках.

Мы вышли на площадку.

Когда-то здесь был алтарь. Теперь — только каменный круг, поросший мхом, с тёмными пятнами, о происхождении которых лучше было не думать. На краю, прижавшись друг к другу, как звери в засаде, сидели двое.

Я посмотрел на них.

Он. Грек. Лет двадцать, не больше. Светлые волосы спутаны, лица почти не видно под грязью. Хитон дешёвый, рваный на плече. Но глаза... Глаза горели. В них отражалась не просто злость. Та самая ненависть, о которой говорил жрец. Ненависть, переданная по наследству, как проклятие.

В руке он сжимал осколок камня — острый, как нож.

Она. Скифянка. Тонкая, как тростинка. Тёмные, почти чёрные волосы заплетены в косу, на шее — бронзовый клык на кожаном шнурке. Кожа смуглая, обветренная. Глаза — большие, тёмные, с красными прожилками от бессонницы. Она смотрела на нас не с ненавистью. Со страхом. И с чем-то ещё... надеждой? Отчаянием?

Парень вскочил. Камень в его руке блеснул.

— Вы из Пантикапея! — выплюнул он. — Из тех, кто купил наш город! Кто продал наши жизни за серебро!

Голос его дрожал. Не от страха — от ярости. Он сжимал камень так, что костяшки побелели.

Атеас поднял пустые ладони. Медленно. Спокойно. Без резких движений.

— Мы не воины, — сказал он. — Мы писцы.

— Писцы? — парень усмехнулся. Горько. Страшно. — Писцы записывают то, что им велят. Вы — ищейки царя.

— Мы знаем цену этой истории, — продолжал Атеас, не повышая голоса. — Мы не хотим вам зла.

— Я не верю.

Девушка вскочила. Схватила парня за руку. Держала

крепко, вцепившись пальцами в его предплечье.

— Не надо, — сказала она. Тихо. Твёрдо. Не просила — требовала.

— Он из Пантикапея, — парень не смотрел на неё. Он смотрел на меня. Смотрел так, будто я был тем самым Гилогном, продавшим его город.

— Посмотри на него, — она повернула его лицо к себе. — Посмотри. Он не убийца. Он устал. Он боится.

Парень замер.

Я стоял, не в силах пошевелиться. Смотрел на них, чувствуя, как в груди что-то сжимается. Страх. Стыд. И ещё что-то... Зависть? К их смелости? К их отчаянию?

— Что вам надо? — спросил парень. Голос его стал тише, но не добрее.

— Ничего, — ответил я. — Мы просто проходим мимо.

— Проходите.

— Мы уйдём. И никому не скажем.

— Никому? — он усмехнулся. — В этом городе все говорят. За деньги. За страх. За миску похлёбки.

Я молчал. Потому что он был прав.

Девушка посмотрела на меня. В её глазах — больших, тёмных, с красными прожилками — мелькнуло что-то. Может быть, понимание. Может быть, надежда.

— Ты хочешь сбежать, — сказал я. Не спросил — утвердил.

— Хотим, — ответила она. — Но не знаем как.

Я перевёл взгляд на Атеаса.

Атеас молчал. Смотрел на пару. Его лицо было непроницаемым, но я заметил, как дрогнул его палец на рукояти ножа.

Потом он достал из-за пазухи монету.

Серебряную. Боспорскую. С грифоном.

Подержал на ладони, глядя, как солнце играет на металле.

— В Илурате, — сказал он. Голос его был тихим, но каждое слово падало, как камень. — Там крепость. Там граница. Там можно начать всё заново.

— Откуда ты знаешь? — спросил парень.

— Я там был.

Атеас протянул монету. Парень не взял. Смотрел на серебро, как на змею.

— Зачем? — спросил он. — Зачем ты нам помогаешь?

— Я был ребёнком, — сказал Атеас. — Мою деревню сожгли. Взрослых убили. Я остался один. Царь проезжал мимо и забрал меня. Не знаю почему. Может быть, увидел во мне что-то. Может быть, просто пожалел.

Он замолчал.

— Я не царь, — продолжил он. — Я не могу вас спасти. Но я могу дать вам шанс. Дальше — сами.

— Почему? — парень не отводил глаз.

— Потому что кто-то должен был помочь мне тогда, — ответил Атеас. — Но помочь было некому. Царь спас — это другое. Он — царь. А я — просто человек, который не хочет,

чтобы вы повторили мою судьбу.

Он положил монету на камень. Звон разнёсся по развалинам, как удар колокола.

Девушка наклонилась. Подняла монету. Пальцы её дрожали.

— В Илурате говорят, — сказала она тихо, глядя мне прямо в глаза, — там не делят людей на своих и чужих. Если мы доберёмся, если выживем... — она сжала монету в кулаке, — ...мы свяжем судьбы так, чтобы ни один царь не смог нас разделить. Пусть это будет нашим ответом всему, что здесь случилось.

— Пусть так и будет, — тихо сказал Атеас.

Она кивнула. Парень взял её за руку. Они исчезли в тумане развалин так быстро, будто сам город поглотил их, пряча от чужих глаз.

Я смотрел им вслед, пока они не скрылись за обломками колонн. В ушах всё ещё звучали их голоса — полные страха и надежды.

Я достал табличку. Руки дрожали, но я заставил их писать.

«Сегодня я видел их. Грек и скифянка. Они несут в себе то, что здесь запрещено. Надежду. Я не знаю, встретимся ли мы снова. Не знаю, дойдут ли они до Илурата. Но если дойдут — значит, вся эта кровь была пролита не напрасно. Ради них я буду помнить. Ради них я буду писать правду. Потому что если не я — то кто? Если не сейчас — то когда?»

Я спрятал табличку.

Атеас стоял рядом, глядя на море. Солнце поднималось над водой, окрашивая её в цвет крови.

— Идём, — сказал он.

— Идём, — ответил я.

Мы пошли назад, в город. Нимфей просыпался — тяжело, неохотно, как старый раненый зверь. Но я слышал в его дыхании не только боль.

Я слышал тишину.

И в этой тишине было больше жизни, чем во всех храмах, которые когда-то стояли на этой земле.

Библиотека Нимфея

24-й день месяца панем, 387 год Боспорской эры

Человек с ключами ждал нас у храма Деметры. Он привалился к покосившейся колонне, нервно грызя ноготь. Увидев нас, сплюнул густую слюну, пропитанную желчью, и кивнул на узкую, заваленную мусором щель между домами.

— Идите за мной. И упаси вас боги отстать. В этом городе стены имеют уши, а камни — клыки.

Мы нырнули в лабиринт. Воздух здесь был другим — спертым, тяжелым, как старое одеяло, пропитанное чужим потом. Пахло сырой плесенью, нечистотами и застарелым, въевшимся в камень страхом. Дома жались друг к другу, загораживая небо; здесь даже тени казались гуще, чем в остальном городе, — они стелились по земле, как языки, облизывающие камни.

— Библиотека в подвале, — прошептал он, будто боясь, что стены его услышат. — При храме. Последний раз сюда спускались еще до того, как Рескупорид стал царем. Пыль, крысы и те, кто не хочет, чтобы их нашли. Ваше счастье.

— Почему? — я старался, чтобы голос не дрожал.

— Потому что правда здесь — самый дешевый товар, — он коротко, сухо хохотнул. Хрипло, с присвистом, будто в горле застряла кость. — Никому она не нужна. Все ищут только монеты.

Мы остановились у низкой, почти выросшей в землю дубовой двери, обитой ржавым железом. Ручка была холодной, липкой, и я невольно отдёргнул пальцы. Ключ в скважине скрежетал, как стонущий мертвец, прежде чем замок с неохотой щелкнул. Дверь открылась, выдохнув в лицо ледяным, затхлым сквозняком. Пахло так, будто здесь когда-то что-то умерло и никто не удосужился это убрать.

Внутри была тьма — такая густая, что я на секунду ослеп. Шаги мои отдавались глухо, будто мы шли не по камню, а по чему-то мягкому, живому. Атеас чиркнул кремнем. Яркая вспышка на мгновение превратила его лицо в маску — белую, черепоподобную, — а затем робкий желтый огонек лампы начал медленно отвоевывать пространство.

Библиотека...

Это было похоже на чрево гигантского зверя, который проглотил века и теперь медленно переваривал их. Полки уходили вверх, теряясь в черноте потолка. Они были встроены прямо в стены — глубокие ниши, похожие на глазницы мертвецов. Тысячи свитков. Они лежали штабелями, как поленища дров, перевязанные кожей, которая от времени стала твердой, как камень.

Пыль... она была везде. Она висела в воздухе густыми хлопьями, забивая горло, хрустела на зубах, оседала на ресницах серым налетом. Я вдохнул и закашлялся — так, что лёгкие разрывало, из глаз потекли слезы, смешиваясь с грязью на лице.

Я протянул руку к ближайшей полке. Кожаный ремешок лопнул под пальцами с сухим хрустом. Папирус, когда я его развернул, отозвался шелестом умирающей листвы — сухим, жалобным, будто жаловался, что его потревожили.

«В год сто двадцать первый... посол из Афин...»

Сухие слова. Буквы плясали в дрожащем свете лампы. Я чувствовал, как пульсирует в висках кровь. Где-то в глубине подвала мерно капала вода — раз, два, три... как отсчёт времени до казни.

— Это не то, — прошептал я. — Это бумага. А мне нужен след.

Я начал рыть. Я разбрасывал свитки, не заботясь о порядке. Пыль поднялась облаком, густым, как туман на болоте. Я закашлялся снова — на этот раз до рвотных позывов. Во рту был вкус пепла и тлена. Атеас стоял у двери, его рука, сжатая на рукояти ножа, казалась монолитом. Он был единственным реальным предметом в этом склепе времени — живым среди мёртвых бумаг.

В углу что-то зашуршало. Крыса. Большая, чёрная, с длинным голым хвостом. Она смотрела на меня блестящими глазками, потом юркнула в щель между полками. Её когти царапали камень.

Наконец, в самом углу, придавленный тяжелым свитком о торговле зерном, я нашел его. Тонкий, неприметный папирус, свернутый в тугой рулон.

Я развернул его. Края папируса были изъедены влагой,

буквы местами стёрлись, но я всё равно прочитал.

«В год четвертый девяносто шестой олимпиады... Гилон, сын Лакида, афинский гармост... предал город Нимфей Сатиру, царю Боспора... Да будет проклято его имя на веки вечные»

Нет. Там было ещё.

«И афиняне закрыли глаза. Им нужен был хлеб. А мы остались здесь — с кровью, которая не смывается».

У меня перехватило дыхание. Пальцы дрожали так сильно, что я боялся порвать папирус. Я сел прямо на холодный, грязный пол, прислонившись спиной к стеллажу, который мелко задрожал. Мои пальцы, перепачканные в саже, сжимали стиль. Я писал. Воск мягко уступал, и я чувствовал, как вместе с этими строчками на табличку переходит проклятие. Оно было горячим, почти живым.

Потом было письмо. Оно лежало отдельно, в кожаном футляре, который рассыпался в пальцах. Рука дрожала, буквы выходили кривыми, но я не останавливался. Я пил эту историю, как яд.

«Кровь не ржавеет, писец. Она будет с ними всегда».

Я перечитал эту фразу трижды. Каждый раз — как пощечину.

— Пора, — голос Атеаса прозвучал как удар молота. — Масло почти выгорело. Мы здесь задохнемся.

Я посмотрел на лампу. Пламя металось, облизывая край фитиля, и тени на стенах плясали, словно в насмешку. Жёл-

тый свет стал красноватым — масло кончалось, фитиль чадил. Я сунул таблички за пояс. Они казались мне теперь не просто воском — это были тяжелые куски свинца. Они жгли бока, как раскалённое железо.

Мы выбрались наружу, когда солнце уже жарило нещадно. Свет ослепил меня, вызвав боль, будто мне в глаза вогнали раскаленные спицы. Я зажмурился, прикрыл лицо рукой, но всё равно видел красные круги под веками.

Человек с ключами спал, свернувшись калачиком в тени, но открыл один глаз, услышав наши шаги.

— Завтра вернемся, — сказал я, не оборачиваясь.

— Завтра, — подтвердил Атеас.

Нимфей встретил нас дневным шумом. Мухи, навоз, крики торговцев, запах пережаренного лука — все это казалось безумно реальным после подвальной тишины. Город гудел, как потревоженный улей, и этот гул резал слух после той мёртвой, давящей тишины под землёй.

Но я не чувствовал больше отвращения. Я чувствовал внутри себя холодный, острый стержень истины.

Теперь я знал цену городу. И я знал цену себе.

Я не просто писец. Я — свидетель, которого город не смог переварить.

Вечер в Нимфее

24-й день месяца панем, 387 год Боспорской эры

Из библиотеки мы вышли другими.

Не потому, что город изменился. Нет. Он всё так же давил на плечи своими узкими, вонючими переулками, где тени слипались в липкие пятна, как застарелая кровь. Всё так же из темноты сверлили взгляды — холодные, липкие, хищные. Всё так же воняло гнилью, мочой и дешёвым вином.

Но внутри меня что-то сдвинулось.

Свитки за пазухой больше не казались просто папирусом. Они жгли грудь, как раскалённые клейма, отпечатываясь на рёбрах, на сердце, на самой душе. Каждый шаг отдавался в них глухим, сухим стоном — будто город не хотел отпускать свою правду, будто я нёс на себе его проклятие, и оно въедалось в кожу.

Мы остановились у фонтана.

Вода в каменной чаше была густой, как застоявшаяся желчь, пахла тиной, ржавчиной и чем-то сладковато-гнилым — может быть,дохлой крысой, которая разлагалась где-то на дне, невидимая, но осязаемая.

Я сел на край. Ноги тряслись, колени дрожали, спина ныла. Я не понимал, откуда эта слабость — от пыли библиотеки, от тяжести свитков или от того, что я нёс в себе чужую боль, которая не давала дышать.

Атеас молча протянул мне кружку. Вино было кислым, почти уксусным — таким разбавляли воду в дешёвых тавернах, чтобы не отравиться. Оно обожгло горло, растеклось по груди жидким огнём, и на мгновение мне показалось, что я снова могу дышать.

— Ты часто бывал здесь? — спросил я, возвращая кружку. Голос звучал хрипло, будто я не говорил несколько дней.

— С царём, — ответил Атеас. — Без царя. Не важно. Город везде одинаков, когда в нём поселилась ложь.

Он оглянулся на площадь. Тьма уже плотно закупорила выходы из переулков, и мне казалось, что она не просто стоит там — она дышит. Ждёт. Высматривает жертву.

— Здесь стены лгут, пиছে, — продолжал он. — А люди продают даже собственный вздох.

— А мы? — мой голос прозвучал тише, чем я хотел. Почти шёпотом. — Мы тоже лжём?

— Мы не лжём, — отрезал он. — Мы не договариваем. Разница в том, что тайна принадлежит нам. А ложь — тому, кто за неё платит.

Я хотел спросить ещё. Но он поднял руку.

Я замер. Волоски на загривке встали дыбом — так чувствуешь приближение хищника, даже когда его не видишь.

Из переулка отделилась фигура.

Сначала я подумал — тень. Ночной дух, которым пугают детей. Но тень шагнула в свет, и я увидел её.

Женщина. Девушка. Я не понял сразу — ей было не боль-

ше двадцати, но лицо... лицо было древним. Бледным, как саван, с синими прожилками вен, проступающими под тонкой, полупрозрачной кожей. Губы потрескались, в уголках — запёкшаяся кровь, чёрная, как старая смола.

Глаза. Пустые. Без надежды. Без страха. Без злобы. Только усталость. Такая глубокая, что, казалось, она проваливается в самую бездну.

Она смотрела на меня — не на Атеаса. Чувала, кто из нас заплатит.

Она шла неловко, переставляя ноги, как кукла, у которой порваны нитки. Хитон на ней был рваным, завязан узлом на плече — когда-то белый, теперь серый, в тёмных пятнах, происхождение которых лучше было не знать.

Она придерживала его рукой. Боялась, что упадёт сам? Или, может быть, надеялась?

Она остановилась в двух шагах. Запах ударил — пот, грязь, дешёвое вино, которым она пыталась заглушить голод. И ещё что-то — сладковатое, приторное, как цветы на похоронах.

— Господин, — голос был тихим, сухим, как шелест опавшей листвы под ногами. — У тебя есть хлеб? Я не ела три дня.

Я смотрел на её руки. Тонкие, почти прозрачные, с синими нитями вен. Пальцы распухшие, ногти обломаны, под ними — чёрная грязь.

На шее — следы пальцев. Жёлтые, угасающие синяки.

Кто-то душил её. Недавно. Может быть, вчера. Может быть, сегодня.

— У меня есть лепёшка, — сказал я.

Достал из сумки. Половина — та, что осталась от завтрака. Чёрствая, крошащаяся, но ещё съедобная. Пахло мукой и теплом — так пахнет дом, которого у неё никогда не было.

Она посмотрела на хлеб. Потом на меня. В её взгляде не было мольбы — только равнодушное ожидание приговора.

— Ты хочешь... — начала она.

— Нет, — сказал я. — Ешь.

Она не взяла.

Вместо этого она развязала узел на плече.

Хитон упал.

Я не ожидал. Я смотрел, и внутри меня что-то перевернулось. Живот сжался в тугий узел, в горле пересохло, а в паху стало горячо, туго, почти невыносимо.

Она стояла передо мной обнажённой.

Бледная, как мрамор. Худая, как тростинка. Грудь — небольшая, но полная, с тёмными, почти чёрными сосками, затвердевшими на вечернем холоде. Кожа на груди была такой тонкой, что я видел, как под ней бьётся сердце — быстро, неровно, как испуганная птица в клетке.

Живот — плоский, с едва заметной линией тёмных волос, спускающейся от пупка. Бёдра — узкие, но округлые, с глубокой впадиной между ними. Ноги — длинные, худые, с выступающими коленями, с синими венами на бледных икрах.

Синяки. Они были везде.

На рёбрах — жёлто-зелёные, старые. На бёдрах — свежие, лиловые, с чёткими отпечатками пальцев. На запястьях — тёмные полосы, как от верёвок. На левом плече — след от укуса, уже заживающий, но ещё розовый, влажный.

Она не пряталась. Не прикрывалась. Стояла, опустив руки, и смотрела мне в глаза. Не вызывающе. Не стыдливо. Просто — ждала.

— Бери, — сказала она. — Я заплачу.

Желание ударило в пах.

Горячо. Быстро. Так сильно, что у меня перехватило дыхание. Я почувствовал, как кровь прилила к лицу, как загорелись уши, как пересохло во рту. Член стал твёрдым, упёрся в ткань хитона, и это было почти больно — сдерживать себя.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.